

ISSN 0131-677X

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

СОВЕТСКАЯ ТЮРКОЛОГИЯ

La Turcologie soviétique

Soviet Turkology

Sovjetische Türkologie



2

БАКУ • 1987

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

С О В Е Т С К А Я ТЮРКОЛОГИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1970 ГОДУ

Выходит 6 раз в год

№ 2

МАРТ—АПРЕЛЬ

БАКУ — 1987

ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR
ACADEMY OF SCIENCES OF THE AZERBAIJAN SSR

СОВЕТСКАЯ ТУРКОЛОГИЯ
LA TURCOLOGIE SOVIETIQUE
SOVIET TURCOLOGY
SOVJETISCHE TURCOLOGIE

Редакционная коллегия: главный редактор
Э. Р. Тенишев (Москва), зам. главного редактора
С. Н. Иванов (Ленинград), первый зам. главного ре-
дактора А. М. Мамедов (Баку), зам. главного редактора
К. М. Мусаев (Москва), И. Х. Ахматов (Нальчик),
А. А. Ахундов (Баку), Р. Б. Бердибаев (Алма-Ата),
Г. Ф. Благова (Москва), Н. З. Гаджиева (Москва),
Э. А. Грунина (Москва), Е. З. Кажибеков (Алма-Ата),
И. В. Кормушин (Москва), Л. С. Левитская (Москва),
Т. Д. Меликов (Москва), Б. А. Набиев (Баку), Б. А.
Назаров (Ташкент), Е. А. Поцелуевский (Москва),
К. К. Султанов (Москва), З. Г. Ураксин (Уфа), А. А.
Чеченов (Москва), А. М. Шербак (Ленинград).

Ответственный секретарь
Н. Г. Наджафов

370143, Баку, пр. Нариманова, 31. Академгородок.
Тел.: 39-24-57, 39-22-86.

Editorial board: editor E. R. Tenishev (Moscow), assistant editor S. N. Ivanov (Leningrad), the first assistant editor A. M. Mamedov (Baku), assistant editor K. M. Musayev (Moscow), I. H. Akhmatov (Nalchik), A. A. Akhundov (Baku), R. B. Berdibayev (Alma-Ata), G. F. Blagova (Moscow), H. Z. Gadjiyeva (Moscow), E. A. Grunina (Moscow), E. Z. Kajibekov (Alma-Ata), I. V. Kormushin (Moscow), L. S. Levitskaya (Moscow), T. D. Melikov (Moscow), B. A. Nabiyev (Baku), B. A. Nazarov (Tashkent), J. A. Potseluyevskiy (Moscow), K. K. Sultanov (Moscow), Z. G. Uraksin (Ufa), A. A. Chechenov (Moscow), A. M. Tshcherbak (Leningrad).

Editor in chief
N. G. Nadjafov

«Sovjetskaja tjurcologija», Akademija Nauk
Azerbajdzanskoj SSR,
370143, Baku, prosp. Narimanova, 31.
Tel.: 39-24-57, 39-22-86.

The journal is published 6 times a year. Subscriptions should be sent to «Mezhdunarodnaya Kniga» (Moscow F-200). Annual subscription 6 roubles 60 kopeks.

СТРУКТУРА И ИСТОРИЯ ЯЗЫКА

Э. А. ГРУНИНА

К ТЕОРИИ ТЮРКСКОГО ЗАЛОГА

Интерес к категории залога, обнаружившийся особенно за последние два десятилетия в тюркологических исследованиях, объясняется не только традиционным вниманием к этой категории, но и новыми идеями синтаксической семантики, давшими новый импульс к интерпретации категории залога. Представляется небесполезным соотнести некоторые результаты, полученные в советском языкознании в области изучения этой категории, с ее интерпретацией на материале тюркских языков.

Теория залога в современных исследованиях опирается на неоднородное представление смыслового содержания предложения, на идеи предикатно-аргументного устройства семантической структуры предложения, теорию валентности и т. д. Семантическая структура предложения, в своем воплощении неразрывно связанная с синтаксической конструкцией, может быть представлена как взаимодействие нескольких уровней: представления о внеязыковой ситуации с ее абстрактными участниками, или референтный уровень; субъектно-предикатная структура, или отношения логического субъекта и предиката [1, с. 114]; уровень предикатно-актантного устройства, или лексема-предиката с ее семантическими ролями агенса, пациенса, адресата и др., которыми заполняются актантные позиции—обязательные и факультативные. Тем самым реализованный в предложении глагол—это одновременно заполнитель синтаксической позиции сказуемого; семантическая единица, раскрывающая внеязыковую ситуацию в ее целостности с набором ее участников—субъект и иерархически соотнесенные объекты (семантическая валентность); лексема-предикат с вещественным, лексическим значением и набором семантических ролей, конкретных для данной лексической единицы; наконец, признак, предиктируемый логическому субъекту. Само понятие субъекта получает разное содержание: как элемент субъектно-предикативного отношения—логический субъект; как элемент «формулы предложения»—подлежащее, соотнесенное с главным именным актантом глагольного предиката; как возможное совпадение с семантической ролью агенса (ср. Мальчик читает книгу и Нож режет хлеб, где в первом случае субъекту-подлежащему соответствует семантическая роль агенса, во втором—инструмента) [2, с. 37]. Сущность залога как категории, включенной в сферу субъектно-объектных связей глагола, и определила ее исследование в этом сложном взаимодействии семантической и синтаксической структур предложения.

Включенность залога в сферу морфологии, синтаксиса, словообразования, лексики сделала эту категорию сложной для исследования и традиционно спорной в интерпретации. Так, в русской грамматической традиции в определении залога на первый план выдвигалось отношение

глагола то к субъекту (Фортунагов, Шахматов), то субъекта к объекту (Потебня). В концепциях залога преобладали то морфологические признаки, то выдвигалось требование более широкого синтаксического подхода [3, с. 614—616]. На понимание залога оказали влияние идеи пражской лингвистической школы, в частности концепция грамматической перспективы предложения, под которой понималось соотношение грамматической и семантической структур предложения. Предложение, в котором грамматическое подлежащее совпадает с семантическим агентом, рассматривается как активная перспектива, а при несовпадении — как пассивная (Матезиус). На этой основе выросло понимание залога как отношения между синтаксической единицей (подлежащее) и агентом как логико-семантической единицей (Гавранек). В таком понимании залога также отсутствовало отношение глагольного действия к объекту [4, с. 81]. Впоследствии идеи грамматической перспективы предложения оказались увязанными с категорией интенции глагольного действия и близкой к ней теорией валентностей. Т. е. понимание залога как категории субъектной или субъектно-объектной связи глагола обогатилось и осложнилось представлением о предикатно-актантном устройстве содержания глагола, в котором в свернутом виде заложено представление о внеязыковой ситуации и заключены все элементы для конструирования предложения (пропозиции).

В отечественном языкознании наиболее существенное влияние на исследование залога в конкретных языках оказала универсальная теория залога, разработанная ленинградской лингвистической школой [5—8]. Кардинальные понятия этой теории — идея нескольких уровней семантической структуры предложения, истолкование уровня поверхностной синтаксической структуры через соотнесение ее синтаксическим актантам семантических понятий логико-семантического плана представления ситуации (диатеза), истолкование залогового преобразования как процесса преобразования исходной диатезы в производную и др.

Идеи универсальной теории залога были применены прежде всего к истолкованию пассивного преобразования типа 'Рабочие строят дом' → 'Дом строится (рабочими)'. В пассивном преобразовании имеет место: 1) изменение синтаксической позиции главного семантического актанта (агенса-подлежащее → агенса-дополнение), или изменение семантической интерпретации главного синтаксического актанта (подлежащее-агенса → подлежащее-пациенса); 2) появление нового синтаксического актанта — агентного дополнения в трехчленном пассиве, т. е. понижение главного семантического актанта в ранге; 3) запрет (элиминация) или возможное невыражение главного семантического актанта (двучленный пассив). Как видно, при пассивном преобразовании не меняется семантическая валентность лексемы-предиката, сохраняется сигнификативное значение исходной конструкции. Диатезное преобразование в данном случае асемантично, но функционально значимо: оно призвано выразить иной «взгляд» на ситуацию, актуализировать неглавный семантический актант реализованного предиката через позицию логического субъекта — грамматического подлежащего.

Раскрытие в производной диатезе механизма пассивного преобразования выявило, что одна и та же ситуация может при одной лексеме передаваться несколькими диатезами, которые можно исчислять [9, с. 17]. Это имело смысл для упорядочения интерпретации производных синтаксических структур данной лексемы-предиката, которые могли иметь залоговые и незалоговые диатезные значения типа 'Дом строится' и 'Дом строят'. Залогом была названа морфологически

маркированная в глаголе диатеза [10, с. 13], хотя формальная маркированность понимается иногда шире [11, с. 78]. Тем самым понятие диатезы оказалось не тождественным залогу. Вместе с тем представление о пассивной диатезе как типе залогового преобразования имело следствием то, что наметилось дифференцированное отношение к таким категориям, как рефлексив, реципрок, каузатив, которые, например, в тюркологической грамматической традиции рассматриваются как залоговые. Понятие диатезы как строго определенного преобразования соотношения синтаксической и семантической структур исходного глагола выявило иную специфику указанных выше категорий. Существенную роль в данном случае сыграло то, что понятие семантической структуры предложения было расширено введением референтного уровня, т. е. было принято во внимание, что семантическим переменным предиката соотнесены референтные единицы (участники абстрактной ситуации) [12, с. 56]. Это позволило увидеть, что, например, в рефлексиве одному референтному участнику соответствуют две семантические роли (субъекта-агенса и объекта-пациенса), т. е. семантическая валентность предиката не меняется, имеет место лишь элиминация на синтаксическом уровне главного актанта. При строгом терминологическом толковании диатезы (типа пассива) рефлексив диатезного преобразования не имеет. Вместе с тем, если под диатезой понимать самую соотнесенность синтаксического и семантического уровней реализованного предиката-лексемы (исходной или производной) и использовать диатезу как методический прием, его можно применить к раскрытию самого процесса залогообразования. Для тюркского залогообразования, где все «залоговые» имеют морфологически закрепленный способ выражения, понятие диатезы оказывается полезным для уяснения специфики семантико-синтаксического единства, репрезентируемого залоговым формантом и залоговой конструкцией.

Категория залога, по своим формальным элементам практически единая во всех тюркских языках, в целом достаточно полно описана. Вместе с тем устойчиво спорной остается интерпретация этой категории с точки зрения ее категориального статуса и места в грамматической системе языка. Традиционное толкование залога в тюркских языках, хотя и прибегало к понятию реального производителя действия, тем не менее не всегда затрагивало синтаксическую сферу реализации залога, ограничиваясь сопоставлением, а чаще отождествлением синтаксических (подлежащее и дополнение) и логико-семантических сущностей. В силу этого залоговые тюркских языков представляли как однородный ряд с модификациями «отношения действия к субъекту/к субъекту и объекту». Спорным до сих пор остается вопрос о том, как в определении залога должно быть отражено отношение действия к субъекту и объекту. Для некоторых исследователей залог — отношение действия к субъекту [13, с. 456], для других это равным образом и отношение к объекту или «отношение субъекта и объекта действия к самому действию» [14, с. 22]. Есть и определения, в которых разграничивается роль указанных категорий в залогообразовании. Отметим два из них: определение Л. Н. Харитоновой, в котором подчеркивается, что залог уточняет субъектно-объектные связи посредством обозначения отношения действия к грамматическому субъекту [15, с. 9], и определение С. Н. Иванова, в котором отмечается двойственная функциональная сущность залоговых формантов: «...аффиксы вторичных глагольных основ изменяют объектную характеристику исходной основы, сообщая возникающей новой основе способность сочетаться с иными дополнениями (словообразование); эти же аффиксы обозначают характеристику субъекта исходной основы (сло-

воизменение)» [16, с. 7]. И хотя не все в этих определениях кажется приемлемым, важно выделение двойственной природы залога, в нашем понимании разнородной принадлежности субъектных и объектных характеристик, идущих от разных, как отмечалось выше, «ликов» глагола-предиката. Однако прежде попытаемся дать общую характеристику каждой залоговой формы (для иллюстрации будет использоваться в основном турецкий материал).

Страдательный залог (СЗ)—1—/—п—в большинстве тюркских языков (кроме тувинского) выступает в функции пассива (преимущественно двучленного, но и с разной степенью представленности в письменных разновидностях языка—трехчленного, т. е. с выраженным агенсом в форме косвенного дополнения). Ср. *Sen başka bir işe (yetkililerce) veriliyor-sun* 'Ты назначаешься (начальством) на новую работу'. Тюркская пассивная конструкция имеет те же особенности преобразования исходной конструкции, о которых говорилось выше. В литературе отмечается, что пассивного «значения» как такового не существует [9, с. 29]. Значение результата, которое иногда возникает при употреблении СЗ, обусловлено другими грамматическими категориями. Ср. *Arabanın camı kırılmış* 'Стекло машины разбито'. Пассивная функция СЗ в тюркских языках является проявлением его более широкой функции снятия субъекта-агенса с позиции грамматического подлежащего, что связано с определенными коммуникативными условиями высказывания (малая информативность в передаче лексического субъекта, необходимость актуализировать другой партиципant ситуации) и стилистическими параметрами текста.

Деагентивная функция СЗ определяется валентностью глагольной лексемы, вернее, принадлежностью лексемы к классу переходных (прямопереходных) или непереходных (в том числе и косвенно-переходных) глаголов. СЗ от переходных глаголов выступает в функции пассива (примеры выше), от непереходных в функции деагентива: *Oraya nasıl gidilir?* 'Как туда пройти?', *Görüşmelere devam edildi* 'Переговоры были продолжены' (-продолжали // было продолжено (вести) переговоры). Способность залогообразования СЗ сама по себе не зависит от внутренних свойств лексемы, но эта зависимость проявляется в возможности заполнения позиции снятого подлежащего: на нее может передвинуться синтаксический актант только с семантической ролью пациенса.

Однако форма СЗ передает и другой тип изменения исходной основы, который представлен в конструкции типа *Kapı açıldı* 'Дверь открылась'. В этом глаголе со значением процесса нет агенса, глагольный признак предикцируется имени со значением пациенса. Но это не преобразование пассивного типа. Здесь имеет место лишь изменение набора семантических актантов в сторону его уменьшения, т. е. налицо изменение семантической валентности. В типе *Kapı açıldı* усматривается декаузатив, или антиактив [11, с. 77]. В литературе о тюркском глаголе в данном случае говорят о медиальном значении, понимая под ним ограничение проявления процесса сферой субъекта. Поскольку агенс не присутствует в семантической структуре данной синтаксической конструкции, то, казалось бы, она сходна с семантической структурой пассива. Однако пассив представляет преобразование активной конструкции, и агенс или отодвинут на периферию, или снят, но имплицитно содержится в передаваемой ситуации. В медиальном СЗ нет исходного агенса. Формально *açıl-* произведен от *aç-*, однако семантическая деривация имеет обратное направление, т. е. семантически *aç-* как переходный глагол—более сложная семантическая структура [17, с. 414]. Можно ду-

мать, что исторически нейтральная в отношении транзитивности глагольная основа в форме -I- передавала лишь состояние или результат какого-либо процесса. Поэтому отсутствие агенса в конструкции медиального СЗ лишь в синхронии можно рассматривать как изменение семантической валентности (—I), исторически—это реликт старого состояния, которое сохранилось в определенном типе глаголов и зависит от лексического наполнения позиции субъекта—грамматического подлежащего: ему должна быть свойственна самопроизвольность процесса: ср. каз: I—*‘копаться’, ‘выкопаться’, но только ‘быть выкопанным’, ‘раскопанным’. Случаи типа асіl- 1) ‘быть открытым’, 2) ‘открыться’ должны рассматриваться как разные лексемы [12, с. 56], а медиальный СЗ—как тип лексического словообразования.

Признак неактивности имени-подлежащего при медиопассиве обусловил такое развитие конструкции: 1) становление пассива, причем предпосылкой могло быть формирование переходности и семантической возможности выражения в конструкции медиопассива источника—причины процесса в форме дат. или исх. п. Глагол в этом случае получал значение не просто процесса, перешедшего в состояние, но процесса-действия [18, с. 118—119], что делало имя-подлежащее однозначно объектом воздействия (Sam kırılmış—Bir kimse samı kırmış ‘Стекло разбито’—‘Кто-то разбил стекло’), а конструкцию—пассивной. Имплитный агенс в процессе становления пассива мог получать выражение на периферии конструкции (трехчленный пассив) или иметь значимую нереализацию на синтаксическом уровне, т. е. развиваться в деагентив. Состояние медиопассива сохраняется в современном -I- в основном в отдельных глаголах (более широко в тувинском языке, где он получает истолкование как медиальный залог [19, с. 6]).

В СЗ имеет место и возвратно-медиальное значение типа тур. atıl—‘устремитесь на кого-л.’: O düşman üzerine atıldı ‘Он бросился на врага’. С точки зрения семантической структуры эта конструкция может рассматриваться как пассивное преобразование при тождественности подлежащего-пациенса и косвенного дополнения-агенса: O düşman üzerine (kendisi tarafından) atıldı *‘Он был брошен на врага самим собою’ [12, с. 57]. Т. е. исторически такое развитие можно объяснить из конструкции пассива, содержащей признак кореферентности ее актантов. Возможность интерпретаций здесь двояка: 1) рассматривать эту функцию СЗ как контекстуально обусловленное проявление пассива; 2) видеть здесь одну из функций рефлексива и включать такие случаи в сферу возвратного залога. Предпочтительнее первое решение.

Итак, при общей синтаксической (асемантической) функции СЗ снятия агенса с позиции грамматического подлежащего—функции деагентивности—он реализуется как пассив и собственно деагентив в зависимости от принадлежности глагола к классу переходных/непереходных глаголов. СЗ—грамматическая категория, лексико-синтаксическая по типу функционирования, интерпретационная по своему содержанию [20, с. 75]. Эти два типа реализации СЗ можно отнести собственно к залогу. Медиальный СЗ (медиальный залог) можно выделять лишь там, где он сохранил достаточно регулярное выражение и формально противопоставлен пассиву: ср. тув. *Токпак чарлы берген* ‘Полено расколосось’ и *Токпак чардыган* ‘Полено расколото (кем-либо)’ [19, с. 6]. В семантико-синтаксическом аспекте медиальность можно рассматривать как сдвиг в семантической валентности и не видеть здесь диатезного преобразования (при котором по определению изменения семантической валентности не происходит).

В диатезах (понимая под этим соотношение семантической и синтаксической структур) возвратного (ВЗ) и взаимного (ВЗЗ) залогов главный семантический актант исходной конструкции не меняет своей синтаксической позиции: *O kendisini yıkadı* → *O yıkandı* 'Он помыл себя' → 'Он помылся', *Kız güldü* → *Kızlar gülüştüler* 'Девушка засмеялась' → 'Девушки засмеялись (разом)'. Изменение в диатезе ВЗЗ представляет собою регулярное, морфологически маркированное субстанциональное (количественное увеличение) и реляционное (соотнесенность референтных субъектов между собою) изменение характера субъекта. Сама возможность образования ВЗЗ не зависит от лексической валентности глагола. В соответствии с представлениями дериватологии реципрок можно толковать как контаминацию двух ситуаций [21, с. 28], связанных тождественностью предикатов, что порождает семантический признак косубъектности их участников, объединенных в синтаксической структуре одной позицией грамматического подлежащего. Референтно изменившийся субъект реализуется в предложении не иначе как в определенной лексеме-предикате, т. е. его субстанционально-реляционная характеристика накладывается на те семантические валентности, которые открывает реализуемая глагольная лексема. Здесь и возникает то, что иногда рассматривается как категориальное значение ВЗЗ—совместность, помощь и др. Однако собственно категориальное качество ВЗЗ является отражением референтной характеристики субъекта и не зависит от глагола, но реализуется через семантическую валентность и синтаксическую структуру глагола. Здесь на уровне лексической валентности и вещественного лексического значения стыкуется категориальное значение ВЗЗ и указанных свойств лексемы-предиката: так, при непереходных глаголах ВЗЗ выступает в значении совместного участия субъектов в действии, при переходных—в значении взаимности, если лексическое значение глагола допускает идею взаимонаправленного действия. Категориальное значение ВЗЗ заключается в номинативном расширении категории субъекта и установлении реляционных отношений его референтных участников—косубъектность, или равноправное положение их в отношении друг к другу.

Отличие ВЗЗ от СЗ проявляется в особенностях его семантико-синтаксической структуры, которая в соответствии с понятием диатезы таковой не является: синтаксическая позиция агенса не меняется, сохраняется его семантическая интерпретация, изменения в синтаксической конструкции (элиминация актантов, связанных отношением ко-референтности) не обусловлены меной синтаксической позиции главного семантического актанта. В универсальной теории залога реципрок к залогу отнесен не был [22, с. 38], вообще следует отметить тенденцию к толкованию реципрока как особой категории выражения субъектно-объектных отношений, которая не является залогом [23, с. 70].

В понудительном залог (ПЗ) мы имеем в известной степени сходную деривационную историю: наблюдается контаминация двух ситуаций: события и каузативной ситуации, тем самым в производном предикате отражено референтное увеличение числа партиципантов (+I). Субъект в данном случае формируется не как совокупность косубъектов, но субъектов, функционально разнородных: один—каузатор, другой—агнс, которому принадлежит реализация лексически выраженного действия. Предикат в ПЗ это лексема-предикат исходного глагола + модусная характеристика, отражающая отношения участников сложной ситуации. Таким образом, категориальное значение ПЗ отражает субстанциональное изменение субъекта (увеличение числа референтных

участников) и реляционное отношение между ними. Категориальное значение ПЗ, как и в случае ВЗ, не зависит от глагола, не обусловлено его валентным типом, но каузативность, накладываясь на семантическую валентность исходного глагола, определенным образом изменяет ее, и это изменение уже зависит от валентностного потенциала исходной основы и ее лексического значения, которое может ограничивать возможность образования ПЗ. Сдвиг семантической структуры в ПЗ можно сопоставить с тем, что имеет место в медиальном СЗ: изменение семантической валентности + дополнительное значение в лексикографическом толковании глагола (соответственно каузативность и медиальность). Поэтому в принципе возможно толкование ПЗ как категории словообразования (в отличие от медиального СЗ—продуктивного) [11, с. 69]. Однако возможен и другой подход. В ПЗ грамматизовано это дополнительное значение (каузативность), оно не зависит от глагольной лексемы (в ПЗ ограничения, связанные с лексическим значением, весьма незначительны). Частные реализации ПЗ также меньше связаны с категорией переходности, хотя и имеют место: при непереходных глаголах каузативность реализуется чаще как каузация «физическим действием» [24, с. 168], или контактная каузация, при переходных—как каузация волеизъявлением, или неконтактная.

В ПЗ, как и в ВЗ, может проявляться признак кореферентности семантических валентностей: это сообщает значение пермиссива-пассива, в котором признак неактивности субъекта-каузатора, кореферентного объекту воздействия агенса исходного глагола, трансформирует волеизъявление в допущение. Ср. тув. *Сарыг-оол акызынга тыптырып алган* 'Сарыг-оол допустил/позволил брату найти себя'→'Сарыг-оол был найден братом' [19, с. 17]. В деривационной истории этой конструкции один референтный участник (субъект-каузатор) исполняет две семантические роли—каузатора и объекта-пациенса, т. е. мы имеем дело не с конверсией, хотя поверхностное преобразование, казалось бы, дает основание для такого толкования: *Акызы Сарыг-оолду тывып алган*→*Сарыг-оол акызынга тыптырып алган*. Однако по существу здесь квазипассив, поскольку преобразование не пассивного типа [25, с. 21]. Каузативная конструкция свидетельствует о семантическом сдвиге (увеличение семантической валентности) и изменении синтаксической позиции семантического актанта (агенса-подлежащее исходного предложения→агентивное дополнение производного предложения), но такая мена связана именно с увеличением валентности, что не позволяет видеть здесь диатезу.

В возвратном залоге (ВЗ) исходное соотношение синтаксической и семантической структур в производной конструкции не изменяется, не меняется и семантическая валентность. Изменение проявляется лишь в ином соотношении с референтным уровнем: один референтный участник ситуации соответствует двум семантическим актантам лексемы-предиката, другими словами, субъект и объект совпадают лексически. В общей теории залога рефлексив не рассматривается как залог [26, с. 89]. Категориальное значение ВЗ сводится к формальному маркированию кореферентности субъекта одному из членов актанта состава лексемы-предиката (объекту-пациенсу, объекту-адресату). Т. е. категориальное значение его беднее, чем у ВЗВ и ПЗ. Однако следствием снятия на синтаксическом уровне позиции кореферентного объекта является развитие дополнительных значений, во многом связанных с семантическими группами глаголов: медиальности типа якут. *өйөн-* 'опираться', абсолютива типа тув. *номчутун-* 'читать постоянно', коли-

чественной характеристики действия типа тур. *gezin-* 'прогуливаться' и др. В этом смысле ВЗ наиболее «лексичный» среди тюркских залогов. Семантический признак кореферентности может присутствовать и в реализациях других залогов (СЗ, ВЗЗ, ПЗ). Он исключен в одновалентных глаголах, что подтверждает его обусловленность семантической валентностью глагола, а не каким-либо свойством субъекта. Деривационная история ВЗ—это компрессия информационной избыточности предложения, в котором лексически тождественными оказываются синтаксические актаны. Мы полагаем, что в истоках ВЗ следует искать отражение в глаголе объекта, связанного с субъектом отношениями неотчуждаемой собственности, т. е. формант ВЗ участвовал в передаче типа объекта. С формированием транзитивности он стал лишь маркером кореферентного объекта. Вхождение рефлексива -п- в сферу пассива СЗ связано с общетипологической возможностью перехода возвратности в пассив [27, с. 209]. Рефлексив—тип валентностной категории, базирующейся на семантической валентности глагола.

Таким образом, тюркские «залог» различаются по своей деривационной истории, категориальному значению, связи с валентностной характеристикой глагола. В группе залогов ВЗЗ и ПЗ (тип II) следует отличать категориальные значения, складывающиеся из субстанциональной характеристики субъекта как элемента референтного уровня предложения (увеличение числа партиципантов) и его реляционной характеристики (внутреннее соотношение референтных партиципантов—тождественных или нетождественных в отношении предиктируемого признака). Субстанционально-реляционная модификация субъекта в ВЗЗ и ПЗ составляет их категориальную сущность, которая и определяет тип взаимодействия с лексическим потенциалом исходной основы. Т. е. в данном типе залогов содержательная характеристика субъекта не вытекает из лексико-грамматических свойств глагола, но реализуется в нем, изменяя (ПЗ) или сохраняя (ВЗЗ) его семантическую валентность. В отличие от этого типа залогов, которые можно назвать валентностно-независимыми, ВЗ (тип III)—валентностнозависимая категория, поскольку ее признак (кореферентность) возникает на основе семантической валентности лексемы-предиката. СЗ (тип I) выступает как категория реляционной валентности [28, с. 55], не затрагивающая концептуального содержания конструкции. СЗ связан не с субстанциональным изменением субъекта, но с передвижением на его синтаксическую позицию подлежащего объекта-пациенса. Функционально СЗ близок к ВЗ тем, что его назначение—устранение в синтаксической структуре синтаксического актанта—субъекта-агенса, как для ВЗ—объекта-пациенса или адресата. Однако за близкими формальными функциями обоих залогов стоят разные семантические процессы: в СЗ меняется диатеза, в ВЗ—диатезы нет.

Таким образом, при определении категориального содержания каждого залога необходимо учитывать:

1) наличие/отсутствие субстанционально-реляционных изменений в субъекте; 2) изменение/сохранение семантической валентности лексемы-предиката и/или изменение поверхностной синтаксической структуры залоговой конструкции; 3) валентностную зависимость/независимость категориального качества залога, отличая ее от реализации категориального свойства залога через валентность глагола.

Если пассивное преобразование получает практически единую интерпретацию и рассматривается как залог (в его узком понимании), то другие категории единообразного толкования не получили. Для пони-

мания проблемы следует коснуться и положения залоговых формантов в структуре глагола, или отнесения их к словоизменению (шире—формообразованию) или словообразованию—именно такие расхождения наблюдаются в толковании этой категории в тюркологических исследованиях по залогу.

Тюркская словоформа в силу своей агглютинативной природы может иметь достаточную линейную протяженность, при которой четкая морфологическая членимость позволяет видеть в единой реализации как бы несколько словоформ. В этом смысле понятие словоформы должно иметь более точные критерии, определяемые ее автономным синтаксическим, а не морфологическим статусом. В этом случае тюркскую словоформу скорее можно представить в виде определенных морфологических блоков, образующих разные ступени ее развертывания как автономной синтаксической единицы. В глагольной словоформе можно выделить комплекс основообразующих категорий, которые входят в состав словоформы, но сами ее не образуют. Понятие словоформы по отношению к залоговому форманту, по нашему мнению, терминологической значимости не имеет, поскольку сегмент, состоящий из лексической основы и формы залога, не обладает синтаксической автономностью. Залоговые показатели—это элементы лексического основообразования, противопоставленные блоку категорий (наклонение, время), образующих грамматическую основу словоформы. С точки зрения морфологической техники основообразование стоит ближе к словообразованию: подобно словообразовательным категориям залог необязателен в структуре словоформы; возможность образования залога мотивирована семантикой исходного (производящего) глагола и тем самым имеет те ограничения, которые свойственны словообразованию; эти ограничения часто определяются разными лексическими значениями глагола (ср. тур. *gidiş-* 'ходить друг к другу', но не 'идти вместе' при *git-* 'идти'; 'идти куда-либо'). Залогообразование обнаруживает не альтернативный тип отношений членов категории, а деривационный, выявляющий отношения производности [20, с. 59]. Объединение залоговых форм напоминает скорее словообразовательное гнездо, нежели словоизменительную парадигму, т. е. выявляет совокупность одно-коренных слов, объединяемых отношениями словообразовательной мотивированности, при этом само производящее слово в парадигматические отношения не вступает. Залоговые формы не связаны оппозитивными отношениями. Следует отметить и то, что лексикографическая практика интуитивно квалифицирует залоговые формы того или иного глагола как словообразование. Вместе с тем залоговая форма, за исключением достаточно многочисленных случаев лексикализации (это составляет особую тему), не создает слова с новым лексическим значением, т. е. она лишена основного признака словообразования. Проблема заключается в том, как интерпретировать залоговые значения, меняющие семантическую валентность лексемы. Например, как рассматривать тюркский каузатив, где в лексикографическом значении глагола имеется значение «каузация». Существуют разные решения: изменение семантической валентности рассматривается как словообразование [11, с. 73], как тип регулярного грамматического изменения субъектной характеристики—установление реляционного отношения между субъектами двух ситуаций, соединенных в одном предикате, т. е. как грамматическую категорию. Есть основания рассматривать ПЗ (а также и ВЗЗ) как грамматические категории номинативно-расширяющего типа, входящие в сферу основообразования (грамматического расширения осно-

вы) и не относящиеся к словоизменению. В обеих категориях имеет место субстанциальное изменение субъекта-агенса, которому как доминирующему члену предикативного отношения предикцируются тождественные (ВзЗ) и нетождественные (ПЗ) действия. Референтное усложнение ситуации усложняет и семантическую структуру субъекта-агенса— в случае ВзЗ это референтно однородные агенсы, в ПЗ—неоднородные (субъект-каузатор и агенс). В ВзЗ семантическое расширение агенса не меняет семантической структуры лексемы-предиката, в ПЗ такое изменение происходит в силу раздвоения референтной и семантической значимости агенса исходного глагола. В поверхностной синтаксической структуре агенс интродуктивного предиката, в силу заполнения синтаксической позиции подлежащего субъектом-каузатором, переходит на ближайшую по рангу позицию, открываемую конкретной лексемой-предикатом, т. е. позицию прямого или косвенного дополнения (соответственно при исходном непереходном или переходном глаголе). Другими словами, категориальное значение ПЗ лишь указывает субординацию агентов исходных ситуаций, а семантическая роль каузируемого субъекта не меняется, синтаксическая позиция определяется валентностью его лексемы.

Категориальные субстанциальные свойства ПЗ и ВзЗ—это уровень представления субъекта как элемента предикативного отношения в его ориентации на внеязыковую действительность [29, с. 332]. Субъект реализует в конкретной лексеме-предикате свои субстанциальные свойства, но не зависит от типа субъектно-объектных отношений на уровне лексемы-предиката, т. е. тип ее семантической структуры подчинен грамматическому характеру субъекта, а не наоборот. Другими словами, ко-субъектность (ВзЗ) и каузативность (ПЗ) не зависят от денотативных свойств глагола или их представления в его семантической структуре. Такой тип залога можно назвать валентностно-независимым. Следовательно, ПЗ и ВзЗ—грамматические категории номинативного расширения субъекта-агенса, отражающие определенный тип усложнения референтной ситуации, что позволяет рассматривать их как категории отражательного типа [20, с. 75].

В СЗ нет семантического (<референтного) преобразования агенса. Имеет место мена (т. е. взаимное перемещение) позиций, которая не связана с какими-либо референтными изменениями в ситуации. Следовательно, СЗ по своему категориальному типу существенно отличается от субстанциальных залогов (ПЗ, ВзЗ). СЗ являет собою формальную функцию деактуализации агенса в синтаксической структуре предложения, что достигается или переводом его на периферию конструкции или запретом на его выражение. Представление субъекта в конструкции СЗ двояко: в пассиве субъект предикативного отношения меняет семантическую роль (>пациенс), в деагентиве субъект не выражен, хотя эту невыраженность можно толковать как семантически значимую (неконкретизируемый агенс). Т. е. на семантическом уровне конструкции СЗ не одинаковы: в пассиве имеет место диатезное преобразование, а в деагентиве—исходное соотношение сохраняется. Поэтому категория СЗ представляет по существу две категории: 1) пассив—реляционная валентностная категория, обусловливаемая валентностной связью двух главных семантических актантов (агенса и пациенса), т. е. благодаря этим двум семантическим ролям валентностной структуры глагола возникает возможность их мены и образования пассивной перспективы; 2) деагентив не меняет исходной диатезы, сохраняется валентность ис-

ходного глагола, снятие в синтаксической структуре агенса не обусловлено изменениями на референтном уровне.

ВЗ не свидетельствует о каких-либо субстанциальных изменениях в агенте—грамматическом подлежащем. Это сближает СЗ и ВЗ. Однако назначение ВЗ сводится не к формальной синтаксической функции, как у СЗ, но к установлению лексической тождественности субъекта-агенса и объекта-пациенса. Само наличие последнего не производное от субстанциальных качеств субъекта или референтно обусловленных свойств глагола (ср. 'мыть кого-л.' = потенциально 'мыть себя', но наряду с этим и 'мыть что-либо'). Признак кореферентности ВЗ формируется на уровне лексемы-предиката, т. е. категориальное свойство ВЗ—производное от валентностной природы глагола. Другими словами, валентностный тип глагола (направленная вовне деятельность) является базой, которая может обусловить тождественность субъекта и объекта. В строгом смысле ВЗ не является диатезным преобразованием [12, с. 60]. Отсюда ВЗ—грамматическая категория реляционной характеристики субъекта, валентностно-зависимая.

Тюркские залогов—разнородные категории [30, с. 104], которые объединяет статус их существования как категорий, взаимодействующих с лексическим и валентностным значением глагола, включенных в сферу субъектно-объектных отношений глагольной конструкции, относящихся к категориям основообразования, то есть к особому типу морфологических категорий, не принадлежащих ни к словообразованию, ни к словоизменению.

Все залогов так или иначе характеризуют субъект. Субъектная ориентация в определении залога обуславливается тем, что в языках номинативного строя можно говорить о субъектной доминации предложения [31, с. 263]. Предполагаемое исторически прямое соотношение агенса (=субъект)—подлежащее, или свойство семантической гомогенности подлежащего [32, с. 316] (что предполагает и разные семантические типы предложения—акциональные и статальные) эволюционировало как к непрямой номинации, где агент получал иное синтаксическое выражение, т. е. развитие пассива, так и к семантическому расширению содержания агенса, в чем состояло назначение грамматической категории залога. В залогах типа ПЗ и ВЗЗ содержание агенса-подлежащего отражало референтно обусловленные изменения (например, соотносительность множества референтных деятелей в одной сложной ситуации), в залогах типа ВЗ и СЗ—деагента модификации не имели субстанциального характера, а порождались на уровне соотносительности семантической (валентностной) и синтаксической структур лексемы-предиката. В обоих случаях агент-субъект предикативного отношения выступает и как агент-семантическая роль в лексеме-предикате в силу функционального дуализма субъекта в предложении, его направленности как к внеязыковой действительности, так и к предикату [29, с. 332]. Этим взаимодействием грамматической абстракции субъектной характеристики, которую маркирует формант залога, и скрытой грамматической абстракции, заключенной в семантической валентности лексемы-предиката, и объясняется категориальная специфика залога как категории двухуровневого устройства, что содержалось и в традиционной его характеристике как лексико-грамматической категории.

Для субъекта как доминирующего члена предикативного отношения в залоговых конструкциях продолжают быть значимыми такие семантические категории, как одушевленность, личность, активность и др.,

обуславливая прежде всего самую возможность залогообразования для некоторых семантических групп глагола.

Исторически формирование залога способствовало формированию категории переходности, т. е. распределению глаголов на подклассы по отношению к прямому объекту. В современных языках свойство переходности находит отражение в частных реализациях залогового значения. Наблюдается определенная закономерность: чем развитее тот или иной залог в языке, тем меньше его конкретные реализации определяют переходностью. Например, в турецком языке с его относительно слабым раскрытием потенций ВЗЗ значения совместности и взаимности в основном расходятся по реализации залогового форманта соответственно в непереходных и переходных глаголах. В тюркских языках северо-восточной подгруппы с их развернутым потенциалом этого залога значимость принадлежности глагола к подклассу переходных в основном нерелевантна. Ср. якут. *тутус* 'держат друг друга (за руки)' и 'ловить вместе' [15, с. 19]. Тем самым переходность включается в более широкое понятие семантической валентности с ее иерархией семантических ролей. Выдвижение переходности в истолкование сущности залога как базового признака не представляется удачным [33], поскольку здесь должным образом не учитывается специфика субъекта и иной уровень объекта в формировании категории залога.

Итак, морфологическая по своей технике категория залога в тюркских языках входит в сферу основообразования (промежуточный тип между категориями словообразования и словоизменения). Ее категориальное значение формируется на двух уровнях: грамматическом как модификация субстанциальных и/или реляционных свойств субъекта исходного глагола и лексическом — во взаимодействии с лексической валентностью глагола (включая его объектные роли) и реализуется в единстве семантической и синтаксической структур лексемы-предиката. Определение залога как отношения действия к субъекту и/или объекту недостаточно, так как такое отношение характеризует глагольную основу как лексическую единицу. Залог — совокупность категорий изменения субъекта и/или субъектно-объектных связей исходной лексемы-предиката, реализованного в синтаксической конструкции. Изменение указанных связей имеет разный механизм и функциональное назначение. Функционально залог обслуживает разные сферы предложения: его денотативно-референциальный (ПЗ, ВЗЗ, ВЗ) и актуализирующий синтаксический аспекты. Взаимозависимость грамматического и лексического в залоговой форме обуславливает специфику каждой категории и является тем семантическим фоном, на котором происходят разнообразные процессы лексикализации залоговых форм в их конкретном лексическом воплощении.

Для понимания характера залога принципиальной представляется интерпретация так называемого действительного залога. То, что принято выделять как действительный залог, представляет собою лексическую основу глагола. При залогообразовании она выступает как материальная база основообразования, но не противопоставленный член категории, в силу чего вряд ли возможно говорить о значимом нуле ее категориального содержания. Грамматическая сущность залогов как форм модификации субъекта не соотносена с субъектом исходного глагола общностью грамматического значения. Исходный глагол участвует в залогообразовании лишь своим валентностным потенциалом и лексическим значением.

Возможно двоякое использование термина залог: 1) залог как над-

категория, включающая несколько категорий модификации субъектно-объектных связей глагола; 2) обозначение этим термином только СЗ, что приблизило бы его к преимущественному толкованию как морфологического пассива. В этом случае за другими залогами следует оставить такие общепринятые термины, как каузатив, реципрок и рефлексив. Общая функция субъектно-объектных модификаций в предложении делает желательным для всех рассмотренных категорий общий термин, которым может быть и традиционный «залог».

ЛИТЕРАТУРА

1. Панфилов В. З. Философские проблемы языкознания. М., 1977.
2. Богданов В. В. Залог и семантика предложения. Проблемы теории грамматического залога. Л., 1978.
3. Виноградов В. В. Русский язык. М.—Л., 1947.
4. Зимек Р. Понимание пассивной перспективы предложения в чешской лингвистике. Проблемы теории грамматического залога. Л., 1978.
5. Типология пассивных конструкций. Диатезы и залого. Л., 1974.
6. Проблемы теории грамматического залога. Л., 1978.
7. Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981.
8. Категория субъекта и объекта в языках различных типов. Л., 1982 и др.
9. Храковский В. С. Пассивные конструкции.—Типология пассивных конструкций. Диатезы и залого. Л., 1974.
10. Холодович А. А. Залог (определение и исчисление).—Категория залога (материалы конференции). Л., 1970.
11. Долинина И. Б. Маркировка субъектно-объектных отношений у валентностных категорий английского глагола.—Категория субъекта и объекта в языках различных типов. Л., 1982.
12. Храковский В. С. Залог и рефлексив.—Проблемы теории грамматического залога. Л., 1978.
13. Севортян Э. В. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. М., 1962.
14. Баскаков Н. А. Историко-типологическая морфология тюркских языков. М., 1979.
15. Харитонов Л. Н. Залоговые формы глагола в якутском языке. М.—Л., 1963.
16. Иванов С. Н. Курс турецкой грамматики. Часть 2. Грамматические категории глагола. Л., 1977.
17. Степанов Ю. С. Вид, залог, переходность.—Известия АН СССР, СЛЯ, т. 35. № 5, 1976.
18. Чейф У. Л. Значение и структура языка. М., 1975.
19. Куулар К. Б. Категория залога в тувинском языке. АКД. М., 1987.
20. Бондарко А. В. Классификация морфологических категорий.—Типология грамматических категорий. М., 1975.
21. Мурзин Л. Н. Основы дериватологии. Пермь, 1984.
22. Храковский В. С. Диатеза и референтность.—Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981.
23. Бирюлин Л. А., Долинина И. Б., Козинцев Н. А., Корди Е. Е. и др. Проблемы универсальной теории залога (о специфике форм с возвратным и взаимным значением).—Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания. Тезисы докладов. М., 1974.
24. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М., 1976.
25. Лetyагина Н. И., Насилов Д. М. Пассив в тувинском языке.—СТ, 1974, № 1.
26. Дешериева Т. И. Субъектно-объектные отношения в разноструктурных языках. М., 1985.
27. Серебренников Б. А. Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974.
28. Сильницкий Г. Г. Глагольная валентность и залог.—Типология пассивных конструкций. Диатезы и залого. Л., 1974.
29. Арутюнова Н. Д. Семантическая структура и функции субъекта.—Известия АН СССР, СЛЯ, т. 38, № 4, 1979.
30. Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. (Глагол). Л., 1981.
31. Степанов Ю. С. Имена, предикаты, предложения. М., 1981.
32. Кибрик А. Е. Подлежащее и проблема универсальной модели языка.—Известия АН СССР, СЛЯ, т. 38, № 4, 1979.
33. Надеяев В. М. Залоговость в тувинском языке.—Морфология тюркских языков Сибири. Новосибирск, 1985.

М. Б. БЕРГЕЛЬСОН, А. А. КИБРИК

СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕФЕРЕНЦИИ В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ [1]

1. ВВЕДЕНИЕ

Переключение референции—это морфосинтаксический механизм, посредством которого в глагольной словоформе маркируется тождественно или нетождественно подлежащее данной предикации подлежащему некоторой другой предикации. Простейшим примером глагольных форм, маркирующих переключение референции, могут служить русские деепричастия. Зависимая предикация с деепричастием (т. е. деепричастный оборот) может быть построена только при условии тождества ее подлежащего подлежащему главной предикации. Когда это условие нарушается, получаются неправильные предложения наподобие известного *Подъезжая к вокзалу, с меня слетела шляпа*. Таким образом, деепричастные аффиксы в русском языке являются, в частности, маркерами тождества, точнее, кореферентности подлежащих (две именные группы кореферентны, если относятся к одному и тому же объекту действительности—референту). В более развитых системах переключения референции наряду с маркерами кореферентности должны быть и маркеры некорееферентности подлежащих. Так, в южно-американском языке анкаш (семья кечуа) имеются маркеры, обозначающие кореферентность (КРФ) и некорееферентность (НКРФ) подлежащего зависимой предикации подлежащему главной (Cole, 1983: 3) [2]:

(1) а. *chakra-chaw urya-shpa, pallamu-rqu-u wayta-kuna-ta*
поле-в работать-КРФ 'собирать-ПРОШ-1' цветок-МН-ВИН
'Работая в поле, я собирал цветы'

б. *chakra-chaw urya-pti-i, Maria pallamu-rqu-n*
поле-в работать-НКРФ-1 Мария собирать-ПРОШ-3
wayta-kuna-ta
цветок-МН-ВИН

'Пока я работал в поле, Мария собирала цветы'.

1. 1. История вопроса и типологические замечания

Термин «переключение референции» (switch-reference) был введен в работе Jacobsen, 1967 применительно к ряду индейских языков Северной Америки. В ходе типологических исследований 70-х годов оказалось, что факты, аналогичные переключению референции и ранее воспринимавшиеся в каждом случае как экзотические, существуют в очень многих языках мира. Оказалось, далее, что переключение референции (ПР) является одним из типологически наиболее распространенных средств обеспечения локальной связности текста (Foley & Van

Valin, 1984: 322—323). Системы ПР широко представлены в языках Северной Америки (Jacobsen, 1983), Южной Америки (Cole, 1983), Австралии (Austin, 1981), Новой Гвинее (Longacre, 1983; Lynch, 1983); соображения об аналогичных явлениях в африканских языках—см. Comrie, 1983. Таким образом, самым неизученным в этом отношении ареалом является Евразия. Нам известны лишь две работы, посвященные рассмотрению переключения референции в языках Евразии и написанные с использованием этого понятия—Nichols, 1979 и Nichols, 1983 [3] (ср. также некоторые замечания в Haiman, 1983; о работах, написанных в других терминах, см. ниже, в § 1. 2). Результатом типологических исследований по ПР явились сборники Munro, 1980 и Haiman & Munro, 1983, в которых были детально разработаны теория и типология ПР. Стандартные термины и аббревиатуры современной теории ПР: switch reference (SR)—переключение референции (ПР); same subject (SS)—маркер тождества, или кореферентности, подлежащих (КРФ); different subject (DS)—маркер различия, или некорееферентности, подлежащих (НКРФ); именно с последним типом маркеров связана внутренняя форма термина «переключение референции».

На основании имеющихся сведений по типологии ПР можно сформулировать ряд фреквенталий, характеризующих системы ПР (ср. также: Haiman & Munro, 1983: x ff.).

1. Предикация, в глаголе которой содержится маркер ПР, является зависимой по отношению к предикации, относительно которой устанавливается кореферентность/некорееферентность подлежащих. Степень этой зависимости может быть разной. Минимальная степень имеет место обязательно. Более высокая степень зависимости выражается в отсутствии абсолютного маркирования лица, а также временных и модальных характеристик.

2. Абсолютное большинство известных систем ПР отмечено в языках с базисным порядком слов SOV (ср. Lynch, 1983), и в таких языках зависимая предикация, маркирующая ПР, предшествует главной.

3. В системах ПР маркируется обычно тождество синтаксического подлежащего, а не какой-либо семантической (гипер)роли или топики (ср.: Foley & Van Valin, 1984: 345 ff.; Woodbury, 1983).

4. Маркеры КРФ и НКРФ часто бывают структурно неизоморфны. При этом маркер КРФ обычно неделим и не отражает никаких характеристик подлежащего, а маркер НКРФ включает в себя аффиксы согласования с подлежащим (см.: Haiman, 1983).

5. Существует иерархия типов полипредикативных конструкций с точки зрения их склонности выражать ПР. Если в языке есть система ПР, то в первую очередь она должна функционировать в конструкциях с семантически наименее специфицированным типом связи между предикациями (Jacobsen, 1983: 170).

Как мы увидим ниже, тувинская система ПР в весьма высокой степени приближается к типологическому эталону.

1. 2. Проблематика переключения референции в тюркологии

До сих пор, насколько нам известно, материал тюркских языков находился вне поля зрения специалистов по общей теории и типологии ПР (см., напр.: Haiman & Munro, 1983). В специальной литературе по ПР нами отмечено единственное упоминание фактов турецкого языка, опирающееся на грамматику (Lewis, 1967); имеется в виду работа

Haiman, 1983 (ср. также: Haiman & Thompson, 1984: 512). Однако трактовка турецких деепричастных аффиксов $-(y)Ip$ и $-(y)A$ как маркеров КРФ (Haiman: 113) не вытекает из фактов, представленных в упомянутой грамматике (Lewis: 178—179). Контрпримеры к такой трактовке можно найти в работе: Кононов, 1956: 475—476.

Нам не удалось обнаружить последовательного анализа полипредикативных конструкций или глагольных форм того или иного тюркского языка с точки зрения кореферентности/некореферентности подлежащих в крупнейших описаниях отдельных языков (Дмитриев, 1948; Кононов, 1956; Кононов, 1960; Исхаков и Пальмбаха, 1961; Lewis, 1967; Tekin, 1968; Поцелуевский, 1975; Убрятова, 1976; Underhill, 1976; Баскаков, 1984 и др.), как и в основных типологических и сопоставительных работах (Гаджиева, 1973; Баскаков, 1975; Юлдашев, 1977). Отмечены лишь отдельные характеристики отдельных деепричастных форм с точки зрения того, требуют ли они кореферентности подлежащих или нет (Дмитриев, 1948: 189; Кононов, 1956: 475—476; Юлдашев, 1977: 158, 167; о работах по тувинскому языку — см. ниже).

Значительный шаг в направлении описания систем ПР был сделан в русле новосибирской типологической школы М. И. Черемисиной. Теоретическая концепция этой школы формировалась на основе изучения языков «алтайского типа». В частности, М. И. Черемисиной и другими авторами было выявлено противопоставление моносубъектных/вариативно-субъектных/разносубъектных форм зависимой предикации (Черемисина, 1977, 1980; Скрибник, 1980). В русле новосибирской школы были детально описаны системы ПР в языках тунгусо-маньчжурской (Горелова, 1980) и монгольской (Скрибник, 1980) семей (описаны, разумеется, в других терминах: в алтаистике показатели КРФ традиционно именуются «субъектным притяжением» или «возвратностью», см.: Черемисина, 1979: 65). Относительно тюркских языков М. И. Черемисина замечает, что и в них есть примеры разносубъектных и моносубъектных конструкций (Черемисина, 1980: 16, 22). Развитая якутская система ПР описана в интересной работе Ефремов, 1979 (см. также: Ефремов, 1981) — это, по-видимому, первое (и единственное известное нам) последовательное описание системы ПР в тюркском языке (о работе Шамина, 1985, посвященной тувинскому языку, см. ниже). Между тем нам удалось установить, что противопоставление моносубъектности/разносубъектности, т. е. явление переключения референции, весьма широко представлено в тувинском языке. При этом маркеры ПР образуют достаточную стройную систему.

В связи со всем сказанным выше думается, что систематическое описание явлений ПР в одном из тюркских языков, выполненное под углом зрения общей теории и типологии ПР, может представить определенный интерес. В разделе 2 описываются полипредикативные конструкции, составляющие основу системы ПР в тувинском языке; эти конструкции будут проиллюстрированы примерами (§ 2. 1). Во второй части статьи (см. № 4—1987) будет предложена их семантико-синтаксическая трактовка (§§ 2. 2; 2. 3), представлен ряд других фактов тувинского синтаксиса, связанных с действием механизма ПР, как-то: противопоставление маркеров КРФ и НКРФ в конструкциях с синтаксическими константами и особенности употребления некоторых деепричастий (раздел 3).

2. 1. Механизм переключения референции

(2) а. ава-м инек-ти саап-т-ар-га, Кара-кыс
мать-1ЕД корова-ВИН доить-СУФ-БУД-ДАТ

б. авам, инекти саап-каш, Ø, чанып келир
ДПУ

‘Мать подоит корову и придет домой’

2. 1. 1. Традиционные интерпретации. Показатель КРФ, отмеченный в примере (26), имеет морфонологическую форму *-ГАш* [4] и в тувинской грамматике именуется показателем «деепричастия прошедшего времени» (Исхаков и Пальмбах, 1961: 330). Родственная деепричастная форма имеется и в ряде других тюркских языков — башкирском, татарском, узбекском, уйгурском и некоторых других. По-видимому, в перечисленных языках эта деепричастная форма кореферентности подлежащих не предполагает [5]. Примеры ее употребления см.: Дмитриев, 1948: 243; Кононов, 1956: 243; Грунина, 1961: 137; Юлдашев, 1977: 76, 223 и сл. Якутская же форма на *-аат*, родственная деепричастию на *-ГАш*, является моносубъектной (Ефремов, 1979: 65). Очевидно, статус формы КРФ у тувинского деепричастия на *-ГАш* и соответствующей якутской формы является либо инновацией, либо, наоборот, реликтом древнего состояния. Интересно, что автор первой тувинской грамматики Н. Ф. Катанов характеризовал эту деепричастную форму как не требующую кореферентности подлежащих двух предикаций и даже чаще употребляющуюся при разных подлежащих (Катанов, 1903: 849, 920). Хотя Катанов приводил примеры разноподлежащего употребления конструкций с *-ГАш*, такие примеры современными носителями отвергаются, а в собранных самим Катановым текстах (Катанов, 934—1053) это деепричастие употребляется почти исключительно в контекстах КРФ.

Авторы современной грамматики тувинского языка (Исхаков и Пальмбах, 1961) обнаружили склонность деепричастия на *-ГАш* употребляться в конструкциях с КРФ (с. 331—332), но интерпретация сложных случаев ими дана не была (см. ниже). В ряде опубликованных работ, затрагивающих синтаксис деепричастных конструкций тувинского языка (Бабушкин, 1959, 1960; Делгер-оол, 1960; Сат, 1982; Шамина, 1983), данная особенность этого деепричастия не отмечалась. Л. А. Шамина в своей диссертации (Шамина, 1985) указывает, что «деепричастная форма на *-гаш* в высокой степени гарантирует референционное тождество своего субъекта с субъектом главного действия» (с. 129), но сама же приводит четыре примера с некорреферентностью подлежащих (с. 131), никак этот факт не интерпретируя (о таких случаях см. ниже, в § 2. 1. 3).

Маркер НКРФ, употребленный в примере (2а), имеет морфологический вид *-Vp...ГА*, где *-Vp*—аффикс так называемого «причастия будущего времени» (лучше сказать, имперфективного масдара); «...»—позиция для вставления личных аффиксов 1-го, 2-го лица, осуществляющих согласование с подлежащим данной предикации (в 3-м лице аффикс—нулевой [6]); *-ГА*—аффикс дательного падежа. Употребление таких масдарно-падежных форм в качестве нефинитных глаголов чрезвычайно характерно для тувинского, как и вообще для тюркских языков, при оформлении зависимой предикации. Эта базисная для тюркских языков морфосинтаксическая модель послужила основой для типологии «предикативного склонения причастий», тщательно разработанной М. И. Черемисиной и ее группой (см.: Черемисина и др., 1984а). Согласно мнению Л. А. Шаминой, «причастно-падежные конструкции» являются в тувинском языке ядром системы полипредикативных конструкций (Шамина, 1982: 61). Интересующее нас сейчас морфологическое сочетание—масдар на *-Vp* плюс аффикс дательного падежа—встречается, в отличие от других масдарно-падежных сочетаний (см. ниже, § 3. 1), в сравнительно немногих тюркских языках (Гаджиева, 1973: 305—306; Черемисина, 1981: 13). Трудно сказать, имеет ли рассматриваемый показатель в этих языках функции, близкие к тем, которые он выполняет в тувинском. В работах по тувинскому языку ни разу не отмечалось, что этот показатель является маркером НКРФ, хотя примеры на его употребление приводились неоднократно (Катанов, 1903: 922—923; Исхаков и Пальмбах, 1961: 309; Сат, 1960; Шамина, 1982; Черемисина и др., 1984б; Шамина, 1985). Любопытно, что Л. А. Шамина, выделяя специальный тип моносубъектных причастно-падежных конструкций, не оговаривает невозможность такого употребления для формы на *-Vp...ГА*, а просто не приводит примеров такого ее употребления (Шамина, 1985: 119—120). В типологических работах М. И. Черемисиной была справедливо отмечена функциональная близость тюркских масдарно-падежных форм к деепричастиям. Эти формы, несмотря на их структурную прозрачность, «функционируют на деепричастный лад» (Черемисина, 1981: 32). В тувинском языке это особенно относится к форме на *-Vp...ГА*.

Поскольку в работах по тувинскому синтаксису не была достаточно отчетливо выявлена интересующая нас функция показателей *-ГАш* и *-Vp...ГА*, т. е. маркировка КРФ/НКРФ, тем более не могло быть установлено, что два эти маркера образуют функциональную пару и их семантика различается ровно на один компонент, а в остальном они синонимичны [7]. Об общих семантических компонентах этих двух показателей речь идет ниже, в § 2. 2 (ср. аналогичные функциональные пары, например, в якутском (Ефремов, 1979), в бурятском (Скрибник 1980: 109—

110). Полипредикативные конструкции, включающие эти показатели, согласно нашим материалам чрезвычайно частотны и регулярным образом соотносятся друг с другом, формируя основу морфосинтаксической системы переключения референции в тувинском языке.

2. 1. 2. Основные примеры. Рассмотрим функционирование механизма ПР в бипредикативных конструкциях при всех возможных типах кореферентности между актантами главной и зависимой предикаций. Сначала будем рассматривать конструкции с глаголами, имеющими базисные падежные рамки: именительный падеж у одноместных глаголов, именительный и винительный — у двухместных. Нужно иметь в виду, что показатель КРФ — маркированный, он появляется лишь в случае кореферентности двух подлежащих. Показатель НКРФ появляется во всех прочих случаях, представлен ли какой-либо другой тип кореферентности или кореферентности нет вообще [2].

1-местный глагол + 1-местный глагол, кореферентности нет:

- (3) ача-зы чору-й баарга, Кара-оол уду-п чыд-ар
отец-3 идти-ДПЧ ВСП:НКРФ спать-ДПЧ ВСП:БУД
'Отец уйдет, и Кара-оол будет спать'

1-местный + 1-местный, кореферентность подлежащих:

- (4) Кара-оол, чемнен-ип ал-гаш, Ø, ажылда-п чорт-кан
есть-ДПЧ ВСП:КРФ работать-ДПЧ ехать-ПРОШ
'Поев, Кара-оол поехал на работу'

2-местный + 1-местный, кореферентности нет — см.: (2а)

2-местный + 1-местный, кореферентность подлежащих — см.: (2б)

2-местный + 1-местный, дополнение первого кореферентно подлежащему второго:

- (5) оол хана-ны, дозулаарга, ол, чараш апар-ган
мальчик стена-ВИН красить: НКРФ она красивый стать-ПРОШ
'Мальчик покрасил стену, и она стала красивая'

1-местный + 2-местный, кореферентности нет:

- (6) ача-зы чед-ип кээрге, ава-зы Кара-оол-ду
отец-3 приходит-ДПЧ ВСП:НКРФ мать-3 ВИН
чемгер-ип каар
кормить-ДПЧ ВСП:БУД

'Когда отец придет, мать покормит Кара-оола'

1-местный + 2-местный, кореферентность подлежащих.

- (7) Ø 1ЕД хоорай чору-й бар-гаш, Ø 1ЕД ава-м-ны
город ехать-ДПЧ ВСП:КРФ мать-1ЕД-ВИН
көр-ген мен
видеть-ПРОШ 1ЕД

'Поехав в город, я увидел мать'

1-местный + 2-местный, подлежащее первого кореферентно дополнению второго:

- (8) Ø 1ЕД хоорай чоруй баар-ым-га, авам мени көр-бейн
ВСП:НКРФ-1ЕД я:ВИН видеть-ДПЧ:ОТР

бар-ды
ВСП-ПРОШ

'Я уехал в город, и мать меня не увидела'

2-местный + 2-местный, кореферентности нет:

- (9) ава-зы инек-ти саап каарга, Кара-кыс
мать-3 корова-ВИН доить: ДПЧ ВСП:НКРФ
шала-ны чу-п каар
пол-ВИН мыть-ДПЧ ВСП:БУД

'Когда мать подоит корову, Кара-кыс помоеет пол'

2-местный + 2-местный, кореферентность подлежащих:

- (10) *Кара-кыс*₁ *дуңма-зы-н* *чемгер-ип* *кааш*, $\emptyset_1$ *инек-ти*
брат-3-ВИН кормить-ДПЧ ВСП:КРФ корова-ВИН

саар

дойть: БУД

‘Покормив брата, Кара-кыс подоит корову’

2-местный + 2-местный, другие типы одинарной кореферентности:

- (11) *уруг*₁ *инек-ти* *чуурга*, *ава-зы* $\emptyset_1$ *мактаан*
девочка корова-ВИН мыть:НКРФ мать-3 хвалить:ПРОШ
‘Девочка помыла корову, и мать ее похвалила’

- (12) *ава-зы* *Кара-оол-ду*₁ *чемгер-ип* *каарга*, *ол*₁ *инек-ти*
мать-3 ВИН кормить-ДПЧ ВСП:НКРФ он корова-ВИН
саан *каар*

дойть: ДПЧ ВСП:БУД

‘Когда мать покормит Кара-оола, он подоит корову’

- (13) *авазы инек-ти*₁ *чу-п* *каарга*, *Кара-кыс* *ону*₁
корова-ВИН мыть-ДПЧ ВСП:НКРФ она:ВИН
саан *каар*

дойть: ДПЧ ВСП:БУД

‘Мать помоем корову, а Кара-кыс ее подоит’

2-местный + 2-местный, кореферентность подлежащих, кореферентность дополнений:

- (14) $\emptyset_1$ *инээ-н*₁ *чу-п* *ал-гаш*, *ача-м*₁ $\emptyset_j$
корова:3-ВИН мыть-ДПЧ ВСП:КРФ отец:1ЕД

саар

дойть: БУД

‘Помыв корову, отец ее подонт’

2-местный + 2-местный, подлежащее первого кореферентно дополнению второго, и наоборот:

- (15) *ыт*₁ *Кара-оол-ду*₁ *ызырып-т-арга*, *ол*₁ *ону*₁
собака ВИН укусить-СУФ-НКРФ он она:ВИН
хап-т-ар

ударить-СУФ-БУД

‘Если собака укусит Кара-оола, он ее ударит’

Корпус приведенных предложений с достаточной ясностью показывает, что механизм ПР регулярным образом действует в бипредикативных конструкциях, где каждая из предикаций имеет типичное агентивное подлежащее в именительном падеже. Необходимо проверить, как этот строго синтаксический, ориентированный на подлежащие механизм будет проявляться в случае предикаций с менее типичными подлежащими. В первую очередь следует рассмотреть дативные квазиподлежащие и производные пассивные подлежащие. В тувинском языке существует небольшой класс одноместных стативных глаголов, управляющих дательным падежом, например, *соок бол* ‘быть холодно’, *ааршылыг бол* ‘быть больно’. Рассмотрим оба возможных случая расположения дативного квазиподлежащего, кореферентного номинативному подлежащему, а именно в главной предикации и в зависимой (звездочкой здесь и далее маркируются формы, грамматически не допустимые в данном контексте).

- (16) *Кара-оол уду-й* *бээрге* *(*бер-геи)*, *аңаа*¹
спать-ДПЧ ВСП:НКРФ ВСП:КРФ он:ДАТ

- соок бол-ур
холодно быть-БУД
'Если Кара-оол заснет, ему будет холодно'
(17) Кара-оол-га₁ соок боорга (*бол-гаш), ол₁
ДАТ холодно быть:НКРФ быть-КРФ он
ыгла-й бээр
плакать-ДПЧ ВСП:БУД
'Если Кара-оолу будет холодно, он заплачет'

Очевидно, для тувинской системы ПР дативное квазиподлежащее к подлинному подлежащему не приравнивается. Тем более не может контролировать употребление маркера КРФ датив тех глаголов, где есть подлежащее в номинативе. Как раз это подлежащее, даже если оно семантически неглавный актанта, и контролирует КРФ:

- (18) а. Кара-оол-га₁ Кара-кыс₁ таарж-ырга (*таарыш-каш),
ДАТ подходить-НКРФ подходить-КРФ

ол₁ ону₁ ошкаан
он она:ВИН целовать:ПРОШ
'Кара-оолу понравилась (букв. подошла) Кара-кыс, и он ее поцеловал'

б. Кара-кыс₁ Кара-оолга₁ таарышкаш (*тааржырга),

ол₁ ону₁ ошкаан

она он:ВИН

'Кара-кыс понравился Кара-оолу, и поцеловала его'.

Теперь рассмотрим случаи с пассивным подлежащим. В пассивной конструкции исходное прямое дополнение становится подлежащим в номинативе, а исходное подлежащее оформляется дативом. В глаголе появляется маркер пассива. Вот примеры с пассивной конструкцией в зависимой (19) и в главной (20) предикации:

- (19) оол₁ ава-зы-н-га чуг-дур-уп ал-гаш, Ø₁
мальчик мать-3-СУФ-ДАТ мыть-ПАСС-ДПЧ ВСП-КРФ
ойна-п чоруур
гулять-ДПЧ идти:БУД

'Когда мальчик будет помыт матерью, он пойдет гулять'

- (20) Кара-оол₁ акы-зы-н-га₁ ужураж-ы бер-геш,
брат-3-СУФ-ДАТ встретить-ДПЧ ВСП-КРФ
ол₁ аңаа₁ этте-д-ир
он он:ДАТ бить-ПАСС-БУД

'Когда Кара-оол встретит брата, он будет им побит'

Очевидно, пассивное подлежащее контролирует ПР в такой же степени, как и производное подлежащее, а агентивное дополнение, оформленное дативом, к подлежащему, естественно, не приравнивается:

- (21) ава-зы₁ кээрге (*кел-геш), Кара-оол
мать-3 приходить:НКРФ приходить-КРФ
аңаа₁ этте-д-ир
она:ДАТ бить-ПАСС-БУД

'Когда мать придет, Кара-оол будет ею побит' [8].

Таким образом, и в случаях нетипичных подлежащих механизм ПР сохраняет строгую синтаксичность—ориентированность на подлежащие в номинативе.

2. 1. 3. Отклонения от строгой кореферентности. Выше были рассмотрены примеры с дативным квазиподлежащим. Кроме небольшого числа одноместных предикатов, управляющих дативом, в тувинском языке есть, по-видимому, еще лишь один тип глагольной падежной рам-

ки, лишенной именительного падежа. Речь идет о нескольких предикатах с лексически стабильным подлежащим, имеющим валентность на посессора, например: *Х-ның хөңнү булган* - 'тошнить' (букв. 'настроение Х-а вырываться'), *Х-ның хөңнү баксыра* - 'стать плохо' (букв. 'настроение Х-а портится'). Оказалось, что именная группа (сокращенно: ИГ), заполняющая место посессора при таком предикате, факультативно приравнивается к подлежащему, т. е. в конструкциях с такими предикатами можно использовать как маркер КРФ, так и маркер НКРФ.

- (22) *Кара-оол*, *чемнен-ип* $\left\{ \begin{array}{l} \text{аарга} \\ \text{ВСП:НКРФ} \\ \text{ал-гаш} \\ \text{ВСП-КРФ} \end{array} \right\} \varnothing_1 \text{ хөңн-ү}$
 есть-ДПЧ $\left. \begin{array}{l} \text{настроение-3} \end{array} \right\}$

булган-ы *бер-ген*
 вырываться-ДПЧ ВСП-ПРОШ
 'Когда Кара-оол поел, его затошнило'

- (23) *оол-дуң*, *хөңн-ү* $\left\{ \begin{array}{l} \text{баксыра-й} \\ \text{испортиться-ДПЧ} \\ \text{баксырааш} \\ \text{испортиться:КРФ} \end{array} \right\} \text{, } \text{бээрге } \varnothing_1$
 РОД $\left. \begin{array}{l} \text{ВСП:НКРФ} \end{array} \right\}$

чан-ып *кел-ди*
 домой возвращаться-ДПЧ ВСП-ПРОШ

'Мальчику стало плохо, и он вернулся домой' [9].

Оказывается, что такое варьирование морфологической маркировки не является индивидуальной особенностью данных предикатов. Дело в том, что посессор, входящий в группу подлежащего, приравнивается по способности контролировать механизм ПР к самому подлежащему. Поэтому возможность употребления конструкции с КРФ в примерах (22), (23) является лишь частным проявлением этого правила. Примеры:

- (24) $\varnothing_1 \text{ каш}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{көж-ерге} \\ \text{делать ход-НКРФ} \\ \text{көш-кеш} \\ \text{делать ход-КРФ} \end{array} \right\} \text{ хаан-ның }_1 \text{ караа}$
 несколько раз $\left. \begin{array}{l} \text{хан-РОД} \text{ глаз-3} \end{array} \right\}$
шокараңайн-ып *кел-ген*
 мелькать-ДПЧ ВСП-ПРОШ

'Хан сделал несколько ходов, и у него в глазах замелькало' (букв. 'глаза хана замелькали') [10].

- (25) *аѳд-ым* $\left\{ \begin{array}{l} \text{аары-й} \\ \text{заболеть-ДПЧ} \\ \text{аарааш} \\ \text{заболеть:КРФ} \end{array} \right\} \text{бээр-ге} \text{ } \left\{ \begin{array}{l} \text{оон} \\ \text{оттуда} \end{array} \right\} \text{аңай}$
 лошадь-1ЕД $\left. \begin{array}{l} \text{ВСП:НКРФ} \end{array} \right\}$ дальше
чору-п *шыда-ва-ды-м*
 ехать-ДПЧ мочь-ОТР-ПРОШ-1ЕД

'Моя лошадь заболела, и дальше ехать я не смог' [11].

Однако маркировка зависимой предикации показателем КРФ оказывается невозможной, если не только имеется кореферентность между посессором при подлежащем зависимой предикации и подлежащим главной предикации, как в (25), но и само подлежащее зависимой предикации кореферентно некоторому неподлежащему актанту главной предикации. Так, в следующем примере, кроме кореферентности по по-

сессору *моя*—я, есть еще кореферентность подлежащего зависимой предикации *мать* дополнению главной *ее*:

- (26) *ава* ₁ -м *кел-ирге* (**кел-геи*), *мен ону*₁
 мать-1ЕД *приходить-НКРФ* *приходить-КРФ* я она:ВИН
чемгер-ер *мен*
 кормить-БУД 1ЕД
 'Когда мать придет, я ее покормлю' [11].

Различие между примерами (25) и (26) можно содержательно проинтерпретировать следующим образом. В предложении (25) правая часть одноместна, и говорящий, используя форму КРФ, устанавливает референциальную связь между предикациями, не рискуя создать неправильное «прочтение» предложения. А в (26) «выигрыш» от акцентирования кореферентной связи через посессор, достигаемый при употреблении КРФ, сводится на нет «опасностью» возможного противоречия между маркером КРФ, с одной стороны, и кореферентностью подлежащего с дополнением —с другой. Интересен следующий пример, в котором маркер КРФ сопутствует кореферентности посессоров при подлежащих двух предикаций (здесь опять имеется вариативность, может быть употреблена и форма *сын-арга* с НКРФ):

- (27) *терге-ниң* *өзэ* *сын-гаи*, *дугуй-лар-ы* *ийи*
 телега-РОД ось:3 сломаться-КРФ колесо-МН-3 два
тала-же *оранчок* *чапта-й* *бер-гилээн*
 сторона-НАПР далеко отскакивать-ДПЧ ВСП-МНКР:ПРОШ
 'Ось телеги сломалась, и ее колеса отскочили далеко в стороны' [12].

В связи с тем, что на посессор распространяется такое свойство подлежащего, как контроль над КРФ, стоит отметить, что отождествление некоторых свойств этих синтаксических сущностей, по-видимому, вообще характерно для тюркских языков (это отмечено для процесса ре-лятивизации в турецком языке—см. Андерхилл, 1987).

Факты, связанные с употреблением маркеров ПР в конструкциях с дативными глаголами и с пассивом, говорят в пользу того, что тувинский механизм ПР ориентирован исключительно на синтаксическое подлежащее—ИГ в именительном падеже. Приведенные же примеры конструкций с кореферентностью по посессору свидетельствуют о том, что маркер КРФ возможен не только в случаях строгой кореферентности между подлежащими, но и в случаях некоторой более слабой референциальной связи между ними. Эти наблюдения наводят на мысль о том, что употребление маркера КРФ регулируется на самом деле не одним, а двумя факторами: (а) наличием двух ИГ в именительном падеже; (б) наличием кореферентности между этими ИГ. Условие (а) является более важным, необходимым. Если нет двух ИГ в именительном падеже, как в примерах (16), (17), то употребление КРФ невозможно. Если же две такие ИГ есть, то маркер КРФ может быть употреблен и при некотором отклонении от условия (б); именно это происходит в примерах (22—25), (27). Отклонение от строгой кореферентности не может быть слишком сильным и всегда связано либо с неполной кореферентностью, либо с трудностью установления кореферентности/некореферентности.

Расширение области употребления маркера КРФ на случаи кореферентности по посессору не является в тувинском языке единственным отступлением от строгой кореферентности. Исследователями различных языков, располагающих системами ПР, отмечалось существование «серых зон», в которых ориентация механизма ПР на кореферентность мо-

жет размываться (см.: Haiman & Mungo, 1983: xi). Типологически наиболее продуктивные источники такого размывания—это:

1) неполное совпадение референтного объема подлежащих, например, одно подлежащее—*я*, другое—*мы* (см.: Franklin, 1983: 46—47);

2) референциальная нестандартность подлежащего (стандартным является конкретно-референтное подлежащее);

3) семантическая нестандартность подлежащего (стандартным является внутренне активный референт, агенс).

Специфика, индивидуальность системы ПР в конкретном языке проявляется как раз в том, по каким из этих направлений и в какой степени размывается синтаксический характер механизма ПР. Рассмотрим поочередно все три источника такого размывания в тувинском языке. Сразу нужно подчеркнуть, что во всех случаях сферу своего действия расширяет только маркер КРФ, «вторгаясь» в сферу НКРФ и тем самым создавая вариативность; обратный процесс не отмечен. По-видимому, это объясняется прагматической направленностью механизма ПР на связывание предикаций, которое в большей степени подчеркивается маркером КРФ.

Самые отчетливые примеры неполного совпадения референтного объема двух ИГ—местоимения *я* и *мы*. При такой квазикореферентности между двумя подлежащими употребление маркера КРФ недопустимо. Что касается маркера НКРФ, информанты с разной степенью уверенности признают правильность таких структур. При этом несущественно, в какой из предикаций находится местоимение-подлежащее с большим объемом, а в какой—с меньшим.

(28)	мен	бажың-га	$\left\{ \begin{array}{l} *кел-геиш \\ \text{приходить-КРФ} \\ ?кээрге \\ \text{приходить-НКРФ} \end{array} \right\}$	бис дүъштеки	чем-ни	
	я	дом-ДАТ		мы	полуденный	еда-ВИН

чип ал-ды-выс
есть: ДПЧ ВСП-ПРОШ-1ЕД

‘Я пришел домой, и мы пообедали’ [13].

В этой ситуации предпочтительно употребление конструкции, вообще не маркирующей ПР. Допустимость маркера НКРФ несомненна в тех случаях, когда оба подлежащих с неполным совпадением объема относятся к 3-му лицу.

(29)	ыраажы-лар	ырлаар-ы-н	соксаарга	(*соксааш),
	певец-МН	пение-3-ВИН	прекратить:НКРФ	прекратить:КРФ
	олар-ның	чамдык-тар-ы	чору-й	бар-ган
	они-РОД	некоторые-МН-3	идти-ДПЧ	ВСП-ПРОШ

‘Когда певцы закончили пение, некоторые из них ушли’

Собственно, к этому классу случаев относятся и примеры с неотторжимой принадлежностью (22—24), (27). Их отличие в том, что между референтами имеется не отношение включения в множество, а отношение части и целого. Для тувинского механизма ПР последнее отношение ближе к тождеству (т. е. к кореферентности), чем первое, и поэтому в примерах с кореферентностью по посессору возможен маркер КРФ.

Референциально эталонным подлежащим является конкретно-референтная, определенная ИГ (об этих и других референциальных характеристиках см.: Падучева, 1985). ИГ с другими референциальными статусами являются нестандартными, референциально неполноценными подлежащими. ИГ с родовым референциальным статусом для тувинско-

‘Когда прошло три года, я поехал в город’

Что касается отпредикатных ИГ в качестве подлежащих (типа *работа, борьба*), то они, судя по нашим примерам, не способствуют употреблению маркера КРФ.

Подытожим общие правила употребления маркеров ПР. Если в би-предикативной конструкции нет двух ИГ в именительном падеже, то выбор маркера однозначен—это НКРФ. Если же две подлежащие ИГ есть и их референты явно тождественны либо явно различны, то выбирается соответственно маркер КРФ либо НКРФ. Когда подлежащие (или хотя бы одно из них) являются достаточно нестандартными (неопределенно-личный ноль, непредметное значение и т. д.), механизм ПР «теряет ориентацию» и неспособен установить тождество/различие плохо оформленных сущностей. Формально эти сущности различны, поэтому возможен маркер НКРФ, но различие их недостаточно отчетливо, поэтому возможен маркер КРФ. Подчеркнем, что всюду мы имеем дело с экспансией маркера КРФ в область неполной кореферентности.

2. 1. 4. Отрицание. Предикация, в глаголе которой содержится маркер ПР, естественно, может быть не только положительной, но и отрицательной. Отрицание выражается с показателями деепричастий и масдаров синкретически (по крайней мере, в интересующих нас случаях). Отрицательный показатель КРФ—*БАйн* (универсальный показатель отрицательного деепричастия). Отрицательный показатель НКРФ—*БАС...ГА* [15]. В случае маркировки НКРФ в отрицательной аналитической глагольной форме, согласно нашим примерам, деепричастие, оформляющее неконечный (смысловой) глагол, принимает отрицательную форму на *-БАйн*, а конечный (вспомогательный) глагол остается в положительной форме НКРФ на *-Vр...ГА*. Никаких отличий в синтаксическом поведении отрицательных показателей КРФ и НКРФ от положительных не обнаружено. Примеры:

- (39) *уруг хөйлең-и-н чуг-байн, чору-й бар-ган*
 девочка рубашка-3-ВИН мыть-КРФ:ОТР идти-ДПЧ ВСП-ПРОШ

‘Девочка ушла, не постирав рубашку’

- (40) *ава-зы* { *чемгер-бейн баарга* } *уруу ыгла-п*
 мать-3 { кормить-ДПЧ:ОТР ВСП:НКРФ } , ребенок-3 плакать-ДПЧ
 { *чемгер-беске* }
 кормить-НКРФ:ОТР

тур-ган

ВСП-ПРОШ

‘Мать не покормила ребенка, и он заплакал’

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Данная работа основана на материале, собранном авторами в ходе лингвистической экспедиции МГУ в Туву (Тоджинский район, поселок Ий) в августе 1986 г. Кроме особо оговоренных случаев, тувинские примеры, приводимые в статье, получены от информантов в поселке Ий. Проверка наших материалов с носителями литературного диалекта тувинского языка показала, что в интересующих нас аспектах тоджинский диалект (о нем см. работу Чадамба, 1974) от литературного отличается незначительно. Случаи расхождений в статье оговариваются. В статье окказионально используется материал тувинских текстов, а также примеры из работ других авторов—такие случаи специально отмечаются.

Мы пользуемся случаем поблагодарить за помощь наших информантов—учителей из поселка Ий, а также аспирантку Института языкознания АН СССР Ульяну П. Опей-оол и аспирантку Института этнографии АН СССР Марину В. Монгуш, с которыми мы проверяли и дополняли наш материал. Мы благодарим членов тувинской экспедиции, участвовавших в обсуждении некоторых положений данной статьи. Мы выражаем также признательность А. Е. Кибрику, А. И. Коваль, И. Ш. Козинскому, М. С. Полинской, Э. Р. Тенишеву, Я. Г. Тестельцу, В. Н. Ярцевой, которые ознакомились с первоначальным вариантом работы и сделали ценные замечания. Разумеется, ответственность за достоверность фактов и правильность интерпретаций возлагается только на нас.

² В поморфемных переводах здесь и далее заглавными буквами обозначаются функции грамматических показателей и единиц. Используются следующие обозначения: КРФ—маркер кореферентности подлежащих; НКРФ—маркер некорреферентности подлежащих; ПРОШ—масдар/финитная форма прошедшего времени; БУД—масдар/финитная форма настоящего-будущего времени; ИМП—желательно-повелительное наклонение; ПРЕКР—прекратительный вид; МНКР—многократный вид; ПАСС—пассив; ОТР—отрицание; ДПЧ—аффикс деепричастия; ВСП—основа вспомогательного глагола (любого); ВРМ—показатель сентенциального сирконстанта со значением одновременности; ЦЕЛЬ—показатель целевого сентенциального сирконстанта; 1, 2, 3—грамматическое лицо как согласовательная категория в имени в форме изафета или в глаголе; ЕД, МН—единственное и множественное число; падежи: ВИН—винительный, ДАТ—дательный, РОД—родительный, МЕСТ—местный, НАПР—направительный, ИСХ—исходный; СУФ—суффикс, не имеющий значения (морфологическая проклад-ка). Двоеточие соединяет переводы показателей, на сегментном уровне не делимых. В тувинских примерах допускается следующая условность—опускаются обозначения нулевых морфем, как-то: нулевых падежных аффиксов в именах и согласовательных аффиксов 3-го лица в глаголах; соответствующие элементы опускаются и в поморфемном переводе.

³ Последняя работа нам представляется неудачной: в нахско-дагестанских языках, на материале которых она основана, ПР нет (и не может быть), так как нет синтаксической базы этого механизма—синтаксического подлежащего (см.: Кибрик, 1979).

⁴ При записи общего вида морфем мы используем морфологическую транскрипцию, в которой заглавные буквы изображают морфемы, на поверхностном уровне реализующиеся по-разному—в зависимости от контекста.

⁵ Традиционно тюркологи, заимствуя из русской грамматики термин «деепричастие», не переносили на тюркский материал требования кореферентности подлежащих деепричастной и главной предикаций; см.: Черемисина, 1977: 7 и сл.

⁶ О различиях согласовательных аффиксов в масдарах и обычных именах см.: Черемисина, 1981: 34.

⁷ Интересно, что в одном из семантических разрядов полипредикативных конструкций, выделенных в диссертации Л. А. Шаминой, формы на *-ГАш* и *-Вр..ГА* оказались рядом, т. е. их синонимия была окказионально установлена (Шамина, 1985: 151—152). Вообще, в тюркологической литературе—помимо работы Ефремов, 1979—нам известен один пример эксплицитного соотношения деепричастной и масдарно-падежной форм, семантически различающихся только выражением/невыражением лица субъекта—Дмитриев, 1948: 257.

⁸ Данный пример получен от носителя литературного диалекта, а для тоджинцев такие предложения неприемлемы. В тоджинских бипредикативных конструкциях рассматриваемого типа одна из предикаций может оформляться как пассивная, только если это мотивировано необходимостью сильно топикализировать пациенс—сделать его пассивным подлежащим; а такая необходимость может возникнуть, только если во второй предикации имеется кореферентное подлежащее.

⁹ Информанты расходятся в отношении стилистической оценки КРФ-вариантов таких предложений. Иногда та или иная форма признается предпочтительной. Однако бессистемный характер таких предпочтений заставляет предположить, что они в каждом отдельном случае не мотивированы, а в целом отражают лингвистическую интуицию информантов, чувствующих нестандартный характер этих конструкций.

¹⁰ Этот пример взят из письменного текста тувинской сказки, вариант с НКРФ проверен с информантом.

¹¹ Эти примеры получены от носителя литературного диалекта.

¹² Пример из работы Бабушкин, 1959: 101.

¹³ Этот пример, а также все примеры до конца § 2. 1. 3 получены от информанта—носителя литературного диалекта.

¹⁴ Как заметила (устно) М. С. Полинская, допустимость маркера КРФ в примере (37а) (и недопустимость в (37б)) может быть объяснена и иначе—наличием ассоциативной связи между понятиями 'весна' и 'цветы'; такие связи близки к референциальным отношениям типа часть—целое, рассмотренным выше. Вообще, возможна несколь-

ко иная трактовка употреблений КРФ в случаях неполной кореферентности—основанная не на нестандартности подлежащих, а на обнаружении тех или иных отношений подобия и связи между двумя подлежащими; разновидностью таких отношений является простая кореферентность.

15 -БАС—это отрицательный вариант показателя масдар -Vp.

ЛИТЕРАТУРА*

- Андерхилл Р. Причастия в турецком языке//Новое в зарубежной лингвистике. 1987. Вып. 19. С. 324—339.
- Бабушкин Г. Ф. О структуре придаточных предложений в тувинском языке // УЗ ТНИИЯЛИ. 1959. Вып. 7. С. 93—104.
- Бабушкин Г. Ф. О структуре придаточных предложений в тувинском языке // УЗ ТНИИЯЛИ. 1960. Вып. 8. С. 127—138.
- Баскаков А. Н. Предложение в современном турецком языке. М., 1984.
- Баскаков Н. А. Историко-типологическая характеристика структуры тюркских языков. М., 1975.
- Гаджиева Н. З. Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков. М., 1973.
- Горелова Л. М. Модели полипредикативных конструкций в эвенкийском языке// Полипредикативные конструкции и их морфологическая база. Новосибирск, 1980. С. 83—96.
- Грунина Э. А. Некоторые вопросы синтаксиса сложноподчиненного предложения в современном литературном узбекском языке//Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. М., 1961. Т. 3: Синтаксис. С. 135—163.
- Делгер-оол А. К. Основные типы глагольных оборотов в тувинском предложении// УЗ ТНИИЯЛИ. 1960. Вып. 8. С. 118—126.
- Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка. М.; Л., 1948.
- Ефремов Н. Н. О парности моносубъектных и разносубъектных якутских темпоральных полипредикативных конструкций// Инфинитные формы глагола. Новосибирск, 1979. С. 59—74.
- Ефремов Н. Н. Сложноподчиненные предложения якутского языка, выражающие простую одновременность// Синтаксис алтайских и европейских языков. Новосибирск, 1981. С. 51—59.
- Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А. Грамматика тувинского языка. М., 1961.
- Катанов Н. Ф. Опыт исследования урянхайского языка с указанием главнейших родственных отношений его к другим языкам тюркского корня. Казань, 1903.
- Кибрик А. Е. Подлежащее и проблема универсальной модели языка// Изв. АН СССР. СЛЯ. 1979. № 4. С. 309—318.
- Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.; Л., 1956.
- Кононов А. Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. М.; Л., 1960.
- Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.
- Поцелуевский А. П. Основы синтаксиса туркменского литературного языка// Избр., тр. Ашхабад, 1975.
- Сат Ш. Ч. Синтаксические функции причастий в тувинском языке. Кызыл, 1960.
- Сат Ш. Ч. Придаточные предикативные единицы в тувинском языке// Структурные и функциональные типы сложных предложений (на материале языков Сибири). Новосибирск, 1982. С. 48—60.
- Скрибник Е. К. О системе деепричастий в современном бурятском языке// Народы и языки Сибири. Новосибирск, 1980. С. 94—110.
- Убрятова Е. И. Исследования по синтаксису якутского языка. Новосибирск, 1976. Ч. 2: Сложное предложение.
- Чадамба З. Б. Тоджинский диалект тувинского языка. Кызыл, 1974.
- Черемисина М. И. Деепричастия как класс форм глагола в языках разных систем// Сложное предложение в языках разных систем. Новосибирск, 1977. С. 3—28.
- Черемисина М. И. Некоторые вопросы теории сложного предложения в языках разных систем. Новосибирск, 1979.

* Сокращение: УЗ ТНИИЯЛИ—Учен. зап. ТувНИИ языка, литературы и истории. Кызыл.

Черемисина М. И. Моносубъектная конструкция: Понятие и типология // Полипредикативные конструкции и их морфологическая база (на материале сибирских и европейских языков). Новосибирск, 1980. С. 6—33.

Черемисина М. И. Предикативное склонение как база зависимой предикации в алтайских языках // Падежи и их эквиваленты в строе сложного предложения в языках народов Сибири. Новосибирск, 1981. С. 12—38.

Черемисина М. И. и др. Предикативное склонение причастий в алтайских языках. Новосибирск, 1984а.

Черемисина М. И., Шамина Л. А., Боргоякова Т. Н. Тувинский язык, 1984б. // Черемисина и др., 1984а. Гл. 6, § 2, п. 2.

Шамина Л. А. Конструкции общей временной соотнесенности в тувинском языке // Структурные и функциональные типы сложных предложений (на материале языков Сибири). Новосибирск, 1982. С. 61—79.

Шамина Л. А. О моделях тувинских сложных предложений с формой на *-гыже* в зависимой части // Тюркские языки Сибири. Новосибирск, 1983. С. 36—45.

Шамина Л. А. Структурные и функциональные типы полипредикативных конструкций со значением времени в тувинском языке: Дис. ... канд. филол. наук. Новосибирск, 1985.

Юлдашев А. А. Соотношение деепричастных и личных форм глагола в тюркских языках. М., 1977.

Austin P. Switch-reference in Australia // *Language*. 1981. Vol. 57. P. 309—334.

Cole P. Switch-reference in two Quechuan languages // Haiman & Munro. 1983. P. 1—16.

Comrie B. Switch-reference in Huichol: A typological study // Haiman & Munro, 1983. P. 17—38.

Foley W. A. & Van Valin R. D. Jr. Functional syntax and universal grammar. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Franklin K. J. Some features of interclausal reference in Kewa // Haiman & Munro. 1983. P. 39—50.

Haiman J. On some origins of switch-reference marking // Haiman & Munro. 1983. P. 105—128.

Haiman J. & Munro P. (Eds.). Switch-reference and universal grammar. Amsterdam: John Benjamins, 1983.

Haiman J. & Thompson S. A. «Subordination» in universal grammar // Proc. Berkeley Linguistics Soc. 1984. Vol. 10. P. 510—523.

Jacobsen W. Jr. Switch-reference in Hokan-Coahuiltecan // Studies in Southwestern ethnolinguistics: Meaning and history in the languages of the American Southwest/Ed. by Hymes D., Bittle W. The Hague: Mouton. 1967. P. 238—263.

Jacobsen W. Jr. Typological and genetic notes on switch-reference systems in North American Indian languages // Haiman & Munro. 1983. P. 151—184.

Lewis G. Turkish grammar. Oxford: Oxford University Press, 1967.

Longacre R. E. Switch-reference systems in two distinct linguistic areas: Wokosoko (Papua New Guinea) and Guanano (Northern South America) // Haiman & Munro. 1983. P. 185—208.

Lynch J. Switch-reference in Lenakel // Haiman & Munro. 1983. P. 209—222.

Munro P. (Ed.). Studies of switch-reference. UCLA papers in syntax, 1980. Vol. 8.

Nichols J. Syntax and pragmatics in Manchu-Tungus languages // The elements: A parasection on linguistic units and levels/Ed. by Clyne P. R. a. o. Chicago, 1979. P. 420—428.

Nichols J. Switch-reference in Northeast Caucasus // Haiman & Munro. 1983. P. 245—266.

Tekin T. A grammar of Orkhon Turkic: Indiana University Publ. Bloomington, 1968⁴ Vol. 69.

Underhill R. Turkish grammar. Cambridge, MA: MIT Press, 1976.

Woodbury A. C. Switch-reference, syntactic organization and rhetorical structure in Central Yup'ik Eskimo // Haiman & Munro. 1983. P. 291—316.

Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А

А. К. САЛМИН

ДВА ЧУВАШСКИХ ТЕРМИНА, ОБОЗНАЧАЮЩИХ СКАЗКУ

В чувашской народной и научной терминологии существуют два активных термина—*юмах* и *халап*—со значением «сказка». Каждый из них имеет специфические смысловые оттенки.

Юмах. Значительный интерес к этимологии данного термина объясняется полисемантической. В дореволюционных рукописях и публикациях [30. С. 35—39, 65—67; 32. С. 141—156, 301—305; 22] *юмах* употреблялся в значении «загадка». В этимологическом словаре чувашского языка для него приводятся уже два значения—«сказка» и «загадка», а также тюркские параллели [7. С. 348]. М. Я. Сироткин под термином *юмах* подразумевал произведения фольклора фантастического содержания [19. С. 12]. Своеобразно толковал его В. К. Магницкий. В статье «Загадки чуваш села Шуматова Ядринского уезда» [24. Л. 136—137] он термином *емах* называет «загадки» (в современной орфографии—*юмах*), а термином *топпа*—«отгадки» (ср. *туппине туп* «отгадай загадку»). Чтобы разграничить понятия «загадка» и «сказка», термин *юмах* дополняют словом *кёске* «короткая»: *кёске юмахсем* «загадка» [31. Л. 213, 220, 222; 25. Л. 19—23; 26. Л. 63—65; 27. Л. 153]; встречается и выражение *сутмалли кёске юмахсем* (букв. «короткие загадки, предназначенные для продажи», т. е. «загадки с хитрыми отгадками») [26. Л. 78—87].

Названию *кёске юмах* «загадка» противостоит понятие *вёрәм юмах* «длинная сказка», означающее сказки вообще [29. Л. 113—123]. В разговорной речи *юмах* функционирует в другом значении: *Урмарна юмах-ламалла-ха тата* «Необходимо переговорить еще с Урмарами», т. е. позвонить в Урмары.

Слово *юмах*, первоначально означавшее «загадку», по мнению А. Рона-Таша, через жанр сказки-загадки стало общим термином, обозначающим сказку [14. С. 135].

В качестве корня в слове *юмах* выделяют *юм* «ворожба, колдовство». Отсюда *юм+ăç* «знахарь», «ворожея». Исследователи указывают на древность этого слова и возводят его к общей тюрко-монгольской основе: др.-тюрк. *йом*, *йум*, монг. *дом* «заклинание, заговор» [7. С. 348; 13. С. 73]. Этот жанр, по предположению В. Г. Родионова, исполняется родовым шаманом [13. С. 76]. Как отмечал Н. Я. Марр, *юмăç* «знахарь» и *юмах* «сказка»—слова, близкие по значению, ибо на соответствующей ступени социального развития знахари, чародеи являлись сказителями, поэтами, а сказки, как и поэзия, считались колдовством: «петь» и «колдовать»

были адекватными понятиями. В этом термине ученый видел «переживание доиндоевропейского средиземноморского слова *ютег*, сохраненного греками по недоразумению в качестве личного имени поэта» [9. С. 406]. «По наблюдениям Н. П. Дыренковой, шорские шаманы на Алтае проводят некоторую параллель между камланием и рассказыванием волшебных сказок: во время рассказывания такой сказки шаман, по его словам, также путешествует по тем подземным и иным отдаленным местам, о которых он говорит в своей сказке» [8. С. 234]. Если принять во внимание чередование в чувашском языке звуков *м* и *н*, то можно провести этимологическую параллель между *юмăç* 'знахарь' и *юн* 'кровь, жертва'. Языковеды слово *юмăç* 'знахарка' воспринимают как лицо, приносившее «богам или духам в жертву какую-нибудь живность» [21. С. 248]. Согласно представлению нганасанов кровь (*кам*)—это душа. Этим же объясняли они обычай поедания вшей, поскольку «считали грехом проливать свою кровь, которая показывается при раздавливании вшей. Существуют запреты против осквернения крови» [11. С. 74].

Учитывая сказанное, приходится согласиться с А. Рона-Ташем, который утверждает, что чувашское слово *юмах* «нисходит в древний мир тюрков и монголов—в мифические, волшебные, более древние, чем сказка, слои фольклора» [14. С. 136]. Необходимо, однако, добавить, что это слово восходит не только к древним слоям фольклора, но и к той древнейшей эпохе, когда обрядовая поэзия являлась выражением мировоззрения наших предков.

Халап (в новой орфографии); в старой орфографии и в разговорной речи—*халлап*. Форму *hallar* Р. Г. Ахметьянов считает близкой к первоисточнику [1. С. 105]. В словаре синонимов чувашского языка даются три значения этого слова—«сказка, беседа, молва» [4. С. 111]. Согласно мифу *турă* (главный языческий бог чувашей) и *пӗлӗхсӗ* (бог, предписывающий судьбу) всегда находились в непосредственной близости и, видимо, тщательно следили за поступками друг друга. Однажды *пӗлӗхсӗ* упустил из виду *турă*, т. е. не уследил за его действиями. Подобное повествование в этнографическом очерке начала XX в. называется *халлап* [20. С. 76]. В этой же работе даются описания молодежных посиделок *улах*, на которых сказывались *халлап* [20. С. 166—167]. На ночных посиделках слушали *вӑрăм халлап* (длинные сказки) и занимались рукоделием, в основном прядением. В сказаниях, как отмечает этнограф, «рассказывалось о жизни в старину», т. е. об истории предков; когда отсутствовали лица мужского пола, невесты учились плачам. Посиделки служили своеобразной школой премудростей жизни и способствовали восприятию старинных родовых обрядов и обычаев. Немаловажное значение на посиделках придавалось длинным рассказам о жизни далеких предков.

Ценные данные об этом находим в XVI выпуске словаря чувашского языка [3. С. 32—38]. Здесь же зафиксированы почти все существовавшие в XIX—XX вв. значения слова *халап/халлап*. Все эти сведения сообщали корреспонденты Н. И. Ашмарина из различных районов Чувашии и соседних с ней территорий. Приведем некоторые примеры: *Улах халапсене ӗьрса яр* 'Пришли сказки, рассказываемые на посиделках'; *Акă вӗсем хайсен вӑхӑтӗнчи пурнӑç синчен халлаплама тытӑнчӗ. Пӗрре пӗртре нумайӑн халапласа ларчӗс* 'Вот они начали рассказывать о жизни своего времени. Однажды в доме собралось много людей на беседу'; *Ну, эп пайан халапӑ старика тӗл полтӑм-ске. Сол тӑршишах манна калаҫса пычӗ* 'Ну и встретил я сегодня словоохотливого старика. Всю дорогу разговаривал со мной'; *Халлап хапха тӑрӑнче, эпӗ урхамах ҫинче,*

вӑл та пулсан йурё-ха 'Сказка на воротах, а я на коне, и то годится'; *Эпё сана сёркё те халап йарса памарӑм, кёсёр ярса парам ёнтё ун вырӑнне* 'Я тебе и прошлой ночью халап не рассказывал, зато сегодня расскажу'; *Пурте вут йӑри-тавра ларчӑс та, халаплама пусларӑс* 'Все расселись вокруг огня и начали беседу'.

Словом *халап* обозначались также народные музыкальные произведения. Различали *халаплӑ юрӑ*—песню со словами и *халапсӑр юрӑ*—мелодию без слов [10. С. 26; 3. С. 33]. В сборнике народных баллад и песен под термином *халап* понимаются исторические песни эпического плана:

Истанпул халапне юрла пусласан
Ватти-вётти йёре пусларӑ.

'Когда запели песню об Истанпуле,
Стар и млад заплакали' [2. С. 30].

В рукописи Г. И. Комиссарова о чувашских сказках [33] в состав фольклорных произведений, объединяемых термином *халап*, включены миф, сказка, легенда, анекдот, предание, сказание, сказ.

Можно указать и другие источники, в которых слово *халап* имеет значение «сказка» [32. С. 191—207; 30. Л. 69—74; 16].

В этимологическом плане этот термин, как указывают источники [6. С. 289; 15. С. 169; 12. Стб. 268; 23. С. 160], соответствует мифологическому периоду общественного сознания; значение (*kalp*) зафиксировано в орхоно-енисейских памятниках. М. Ряснен слово *hilař* возводит к османским и арабским источникам и дает основные значения его—*Märchen, Fabel*.

Как сообщила нам Л. В. Андреева из Вурнарского района, ее односельчане под словом *халап* понимают «народные произведения, правдиво описывающие события прошлой жизни».

Встречаются фамилии, производные от слова *халап*—Халапсин.

М. Я. Сироткин *халап* в значении «сказка» относил к южным (низовым) чувашам [19. С. 12]. По мнению Е. С. Сидоровой, *юмах* более всего соответствует произведениям фантастического, волшебного содержания, а *халап*—повествовательного жанра [18. С. 6]. В другой своей работе автор не делает резких различий в значении обоих терминов, полагая, что они носят, скорее, диалектный характер [17. С. 4]. Действительно, в последнее время при опросе населения трудно уловить разницу в значениях *юмах* и *халап*. Об этом красноречиво свидетельствует сборник чувашских сказок «Чӑваш юмах-халапӑсем», вышедший в 1959 г., где оба термина объединены дефисом, означая одно понятие [5].

Наиболее верное объяснение термина *халап* дают В. Г. Родионов [13. С. 101] и А. Рона-Таш [14. С. 136]. Первый предлагает обозначать данным словом жанры эпической прозы. Второй считает, что «*юмах* применяется больше всего для обозначения басен и волшебных сказок, а слово *халап*—эпических сказок, сказаний». Вместе с тем А. Рона-Таш отмечает условность такого разграничения, «т. к. содержание этих терминов неодинаково в различных говорах чувашского языка». Мы улавливаем в таких объяснениях рациональное зерно: *халап*, в отличие от сказок вообще,—это прежде всего сказка эпического склада. Данное положение неоднократно было подтверждено специальными опросами

самых сказителей в полевых условиях. Так, например, в 1975 г. 88-летнего сказителя из башкирских чувашей А. Ф. Степанова попросили рассказать какой-нибудь *юмах* о паттырах. На это последовал ответ: «Халлапы-сказки я знал много». Далее он сообщил, что в этих *халлапах* говорилось о людях-паттырах, путешествовавших в далекие края и совершавших героические подвиги. Одним из них являлся Пармай-паттыр. Затем информатор рассказал о паттыре *Сур ывăл* (букв. полсына), который раздобыл себе царевну, совершив поход за сотни километров. В сказке, в частности, присутствует мотив испытания жениха в бане—один из основных атрибутов богатырской сказки. В качестве спутников паттыра выступают Ледяной Нос, Мировой Пьяница, Мировой Обжора. Таким образом, в беседе с А. Ф. Степановым устанавливается, что под сказками о паттырах он подразумевает *халап*. При многократных попытках заменить термин *халап* на *юмах* информатор неизменно делал поправки, замечая, что «то, что он сейчас рассказывает,—это *халап*». Если учесть консерватизм традиционной культуры белебейских чувашей, то можно полагать, что такое толкование самим народом имеет древние корни.

На основании изложенного полагаем, что научное употребление этих двух терминов следует унифицировать, понимая под *халап* сказки эпического склада, а под *юмах*—сказки вообще, за исключением сказок о паттырах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахметьянов Р. Г. Общая лексика духовной культуры народов Среднего Поволжья. М.: Наука, 1981, 144 с.
2. Палнай: Чăваш халăх хайлавĕсем, сăввисем / Валем Ахун пухса йĕркеленĕ. Шупашкар, 1973, 231 с.
3. Ашмарин Н. И. Чăваш сăмахĕсен кĕнеки: Словарь чувашского языка. Шупашкар, 1941. Вып. 16. 376 с.
4. Васильева Е. Ф. Синонимсен словарĕ. Шупашкар, 1983, 128 с.
5. Чăваш юмах-халлапĕсем/Н. Ф. Данилов пухса хатĕрленĕ; И. И. Одюков ред. Шупашкар, 1959, 291 с.
6. Древнетюркский словарь. Л.: Наука, 1969.
7. Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1964, 355 с.
8. Зеленин Д. К. Религиозно-магическая функция фольклорных сказок // Сб. в честь С. Ф. Ольденбурга. Л., 1934.
9. Марр Н. Я. Избранные работы. М.; Л.: Экономиздат, 1935. Т. 5: Этно- и глоттогония Восточной Европы. 668 с.
10. Павлов Ф. Чуваши и их песенное и музыкальное творчество: Муз.-этногр. очерки. Чебоксары, 1926, 65 с.
11. Попов А. А. Нганасаны. Социальное устройство и верования/Отв. ред. Г. Н. Грачева, Ч. М. Таксами. Л.: Наука, 1980, 150 с.
12. Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. СПб., 1899. Т. 2, ч. I 1051 стб.
13. Родионов В. Г. Вопросы жанровой классификации чувашского фольклора // В кн.: Чувашский фольклор. Специфика жанров. Чебоксары, 1982.
14. Рона-Таш А. Чувашские сказки: Заметки венгерского исследователя/Пер. с венг. Ю. Дмитриевой // Там же.
15. Сбоев В. А. Чуваши в бытовом, историческом и религиозном отношениях: их происхождение, язык, обряды, поверья, предания и пр. М., 1865 188 с.
16. Сергеев Л. П. Словарь чувашских народных говоров // В кн.: Материалы по чувашской диалектологии. Чебоксары, 1971. Вып. 4.
17. Сидорова Е. С. Чувашская бытовая сказка: АКД. М., 1973 17 с.
18. Сидорова Е. Чăваш юмахĕсем // Кĕн.: Чăваш халăх сăмахлахе. Шупашкар: Чăваш кĕн. изд-ви, 1973.

19. Сироткин М. Я. Чăваш литератури: Вăтам школăн 9-мĕш класĕнче вĕренмелли кĕнеке: Пиллĕкмĕш каларăм. Шупашкар: Чăваш кĕн. изд-ви, 1969, 224 с.
20. Тимофеев Г. Т. Тăхăрьял (Сĕве тăршшĕнчи чăвашсем): Этногр. очеркĕсемпе халăх сăмахлăхĕ. Шупашкар: Чăваш кĕн. изд-ви, 1972, 492 с.
21. Федотов М. Р. О названиях дней у чувашей // Учен. зап. Чебоксары, 1962. Вып. 21.
22. Юркин И. Н. Юмахсем (Загадки). Хусан, 1907, 16 с.
23. Räsänen Martti. Versuch eines etymologischen Wörterbuch der Türkssprachen. Helsinki: Suomal.-Ugrilainen seura, 1969. 533 S.
24. ЦГА ЧАССР, ф. 334, оп. 1, № 12.—Магницкий В. К. Материалы о народном веровании и обрядах Уржумского уезда Вятской губернии, 1880, 341 л.
25. ЧНИИ, отд. 1, № 73 (Науч. арх. ЧувашНИИ языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР).—Волков Н. Г. 1936—1939, 322 с.
26. Там же, № 90.—Загадки, пословицы и др. 1937—1939, 193 с.
27. Там же, № 129.—Песни, сказки и загадки, записанные от разных лиц. 1937—1941, 472 с.
28. Там же, № 135.—Сказки, песни, стихи, рассказы, загадки, пословицы, поговорки. 1929—1937, 633 с.
29. Там же, № 136.—Сказки, песни, пословицы, поговорки и загадки. 1931—1937. 552 с.
30. Там же, № 149.—Никольский Н. В. Этнография. Фольклор. 1903—1904, 306 с.
31. Там же, № 175.—Никольский Н. В. История. Язык. 1904—1909, 282 с.
32. Там же, № 184.—Никольский Н. В. Материалы по этнографии и фольклору. 1910—1919, 396 с.
33. Там же, отд. III, № 213.—Комиссаров Г. И. Сборник чувашских сказок. 1961, 282 л.

ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ

Д. Г. ТУМАШЕВА

ЭТНИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЗАПАДНО-СИБИРСКИХ ТАТАР

(ПО МАТЕРИАЛАМ ТОПОНИМИИ И АНТРОПОНИМИИ)

Развитие этнографических, археологических и антропологических исследований по Сибири позволяет нам еще раз обратиться к языку западно-сибирских татар и в свете новых данных и имеющегося в нашем распоряжении ономастического материала (главным образом по топонимии и антропонимии) проследить их этнические и исторические контакты.

Выявленный кыпчакский характер языка западно-сибирских татар наиболее ярко проявляется в тоболо-иртышском диалекте, для говоров которого характерны также восточно-тюркские, карлукские, огузские признаки и субстратные явления, унаследованные от аборигенных языков [48, с. 242—262; 49, с. 51—94]. В статье рассматриваются этнонимы, отраженные в топонимии и антропонимии¹ сибирских татар, имеющие аналоги в родоплеменной структуре главным образом кыпчакских племен, вошедших в состав башкир, казахов, каракалпаков, ногайцев и некоторых других народов.

Этнические связи и взаимодействие западно-сибирских татар с башкирами обстоятельно освещены Р. Г. Кузеевым [24; 25]. Истоки этих связей показаны в работе Б. О. Долгих «Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке»: «Наши источники называют всех коренных обитателей Тюменского уезда татарами. Фактически же в составе коренного населения Тюменского уезда были не только сибирские татары, но и предки некоторых групп современных башкир» [11, с. 41]. В частности, в начале XVII в. в Верхотурском и Тюменском уездах проживали башкиры терсякского аймака [11, с. 23]. В Тюменском уезде башкиры были приписаны к Бачкырской, Терсякской, Пышминской и Исетской волостям. Терсякская волость находилась на р. Исеть—выше волостей Пышминской и Исетской, Бачкырская—на р. Исеть и у оз. Утеш (совр. оз. Атяж). К бачкырцам относилось население Баишевых юрт, расположенных по р. Исеть, и татары-белаковцы [11, с. 47]. В Туринском уезде следы пребывания башкир обнаруживаются в названиях юрт

¹ Источниками для статьи послужили записи названий татарских деревень во время диалектологических экспедиций в Сибирь с 1948 по 1964 г., справочники по Тюменской и Омской областям [33; 51], материалы по антропонимии сибирских татар 1816 и 1819 гг., извлеченные из Государственного архива Тюменской области [ГАО, И-21, оп. 1, ед. хр. 2; ГАО, И-21, оп. 1, ед. хр. 3] и любезно предоставленные нам Х. Ч. Алишиной, а также информативные данные, полученные от Х. Ч. Алишиной (уроженки Ярковского района) и Ф. В. Ахметовой (уроженки Тобольского района), которые будут оговорены особо.

*Кичубаева, Ильчибаева, Янбаева. Ембаевские юрты (Ямбай/Малцын)*² существуют и ныне—на р. Туре, недалеко от Тюмени.

Территория, на которой проживали бачкырцы в бывшем Тюменском уезде (южнее Тюмени), совпадает с территорией расселения тюменских и ялutorовских татар. Н. А. Томилов считает, что последних на основании историко-этнических данных можно выделить в особую подгруппу, сложенную тремя этническими компонентами: башкирами, тюменскими и ялutorовскими татарами [45, с. 145—146]. Исследования языка ялutorовских татар, проводимые в последние годы, также выявляют в нем ряд специфических черт, однако данных, которые могли бы подтвердить его этническое своеобразие, пока недостаточно.

Топонимы, сохраняющие следы пребывания башкир и их контактирования с сибирскими татарами, отмечаются и далее к востоку и юго-востоку от Тюмени—на территории Вагайского, Ишимского, Тобольского, Викуловского и других районов Тюменской области. Это—*Утяшевский* разъезд и село *Утяшево* в Тюменском районе, *Башкурдинские* и *Утяшевские* юрты в Вагайском районе на территории бабасанских татар (бывший Байкаловский район). В ревизских сказках Калымской волости 1816 г. встречаются антропонимы *Утяш* Исенъяров, *Утяш* Сафаров и *Сабарбак Утяшев*—жители Тарханских юрт. Оним *Утяш* восходит к финно-угорскому *Атяш/Атяж*, обозначавшему мужское имя [14, с. 110—111].

В Тюменском уезде проживали также башкирские племена сырянцев (сырянцев/зырянцев) и табынцев [11, с. 47]. Этноним *сырян* (*сырян*, *зырян*) сохранился в названиях трех сел *Зырянка*: в Тюменском, Ишимском и Упоровском районах и села *Зыряново* в Тобольском районе [51, с. 21]. Очень интересен в этой связи этноним *сөрэн*, *сөрэннәр*, которым называли прежнее население современной русской деревни Бобово Кутарбитского сельсовета бывшего Байкаловского района. Можно было бы предположить, что данные топонимы имеют коми-зырянское происхождение, ибо, как пишет Е. И. Овчинникова, «коми-зырянские топонимы, не составляя плотного ареала, повсюду вкраплены в топонимику других насельников Сибири» [32, с. 17—18]. Однако топонимы *Зырянка*, *Зыряново* и этноним *сөрэн*, о которых говорилось выше, сосредоточены в южных районах Тюменской области, тогда как, например, топонимы с коми-зырянскими компонентами *-горт* и *-кар* локализованы и имеют значительную плотность, главным образом, на территории Шурьшкарского района Ямало-Ненецкого округа [51, с. 25—27]. Впрочем, *сырянцы* (*зырянцы*), участвовавшие в формировании древнебашкирского этноса, как это установлено Р. Г. Кузеевым, также являются финно-угорским племенем, подвергшимся отюречению.

К потомкам угров, которые предположительно были тюркизированы еще в Западной Сибири, наряду с племенами *сырян* и *терсяк* относят и племя *бикатин* [25, с. 220 и др.]. Этот этноним сохранился в названии татарских юрт *Пигатин* (русское название деревни—Бегитино). В языковом отношении эта часть Вагайского района, расположенная в междуречье Иртыша и Вагая, выделена нами в восточно-тобольский подговор, сохраняющий ряд самобытных весьма архаичных черт, тяготеющих к тевризским [48, с. 158]. На юге этой труднодоступной территории, распо-

² Каждая деревня (или юрты) имеет по два названия: русское (официальное) и татарское, хотя и первое также может быть тюркским по происхождению: *Чебурга* (тат. *Күкрәнде*), *Медяньские юрты* (тат. *Сатылган*).

ложенной в болотисто-озерной местности, находятся *Токузские, Иштякские* и *Уватские* юрты. Жителей этих и близлежащих юрт Н. А. Томилов по племенной принадлежности называет токузско-иштякскими, а по географическому размещению—вагайско-уватскими татарами [46, с. 72]. Этнонимы *токуз* и *иштяк* имеются в родовых названиях айлинской группы башкир, этноним *иштяк* был известен и некоторым древнебашкирским племенам: усерганам, тамьянцам [25, с. 203—204], каракалпакам [13, с. 45]. Иштяками называли в Сибири и татар.

К одному из ранних компонентов башкирского этноса, сформировавшемуся в этнической среде булгаро-угорских племен, Р. Г. Кузеев относит родоплеменные образования *юрмы, юрматы, гайна-тархан* [25, с. 338—346]. (Последние этнонимы широко представлены в разных группах татарского этноса). На территории расселения тоболо-иртышских татар этнонимов, связанных с этой группой родоплеменных образований, выявлено немного. С некоторой долей вероятности к ним можно отнести этнотопонимы *Юрмы*—татарские юрты бывшего Байкаловского, ныне—Вагайского района, *Юрминка*—русская деревня Аромашевского района [51, с. 191], имеющие явно угорское происхождение. Эти этнотопонимы можно соотнести с башкирскими этнонимами *юрми, юрмы, юрматы*, сближаемыми с венгерскими. «В историко-этнографическом плане наиболее трудным является вопрос об удельном весе тюркских (волжско-булгарских) или угорских (древнемадьярских) элементов в выделенном пласте. ... В то же время нет оснований отрицать возможность и вероятность участия на ранних этапах башкирского этногенеза угорского (древнемадьярского) компонента» [24, с. 192—193]. По поводу древнего угорского населения этой местности историки пишут: «Лесостепные угры VI—VIII вв., воспринявшие в южных районах элементы культуры тюркских племен, оставили свои следы в Северо-Восточном Казахстане, в Павлодарском Прииртышье, а также в районе Тюмени (выделено нами.—Д. Т.), где лесостепное население сосуществовало с лесным. Есть основание полагать, что угры лесостепей Западной Сибири относились к древним мадьярам» [16, с. 304]. К этой же группе Р. Г. Кузеев и Н. Н. Моисеева относят древний родоплеменной этноним булгарского происхождения *тархан* [26, с. 8]. Этот этноним отражен в названиях *Тарханских* юрт (тат. Кала) и Чечкино (тат. *Тархан*) Ярковского района. В *Тарханских* юртах (*Таргам* аул) были произведены записи В. В. Радловым, который отнес этот материал к тюменским татарам [34, с. 314—326]. В Кунгурской летописи встречается ойконим *Тарханский* городок и антропоним *Тархан*: «Кучум послал в Тарханский городок к Тархану мулле своего дворецкого Кутугая». Известно также о существовании ойконима *Чуваш-тура* по соседству с городками Сузгун-тура, Бицик-тура, Абалак [22, с. 18].

Наряду с гайна-тархан в составе северо-западных башкир упоминается древнебашкирское племя *уран* [24, с. 153], которое можно сопоставить с сибирско-татарским антропонимом Урангулов (1816 г.).

Р. Г. Кузеев и Н. Н. Моисеева в качестве первого этапа этнических взаимосвязей тюркских этносов севера степей Евразии называют «первые века II тысячелетия н. э. (до начала монгольского нашествия—XIII в.), когда в сложных процессах консолидации тюркских этносов от Волги до Тобола главную роль играли волжско-булгарские и печенежские (или печенежско-огузские) племена» [26, с. 8]. Действительно, направление внешних связей лесостепных, главным образом угорских, племен Прииртышья в начале II тысячелетия изменилось в сторону усиления контактов с Прикамьем и Русью. Среди орудий труда и украшений

хантов этого времени распространяются вещи, изготовленные в Прикамье, Волжской Болгарии, Среднем Поволжье и древнерусских городах [16, с. 395]. Об этом свидетельствуют также самые последние археологические раскопки кипских курганов, расположенных в окрестностях татарской деревни Кипокуллары Тевризского района Омской области. Основная часть обнаруженных изделий относится к памятникам Алтая и Южной Сибири, подтверждая тем самым направление тюркизации края. Отдельные предметы принадлежат к памятникам Прикамья и датируются X—XII вв. [20, с. 51]. Б. А. Коников сообщает о находке в кипских курганах плоского изображения всадника на коне из бронзы (аналогичное изделие известно среди других древностей булгар на Волге) [21, с. 139]. Эти факты свидетельствуют о существовании контактов Прииртышья со Средним Поволжьем и Прикамьем в конце I—начале II тысячелетия н. э. К сожалению, мы не располагаем достоверными языковыми или ономастическими данными, подтверждающими тезис Р. Г. Кузеева и Н. Н. Моисеевой о возможной миграции булгаро-кыпчакских племен до XIII в. и после монгольского нашествия в Западную Сибирь и об участии булгарского компонента в формировании сибирских татар Тоболо-Иртышского междуречья [26, с. 8]. Однако несомненным достоинством выдвинутого положения является то, что оно указывает на возможное направление исследований. Исходя из этого, мы решили привести ряд языковых данных, которые также могут послужить поводом для размышления.

В упомянутых ревизских сказках 1816 г. встречаются женские имена *Алтым*, *Алтон* (Утяшевские юрты), *Атым*, *Айтин* (Канчабурские юрты), *Айтым* (Матмасовские юрты), две сестры *Алтын* и *Алтун* (Киндерские юрты). Мы привели все имена, сходные по звучанию, для того чтобы выявить варианты онимов и исключить ошибки при их написании. Так, например, имена *Алтын*, *Алтун* и, возможно, *Алтон* действительно являются вариантами образованного от апеллятива «алтын» антропонима и отражают его различное произношение. Нас привлекли имена *Алтым* и *Атым*. Поскольку широко распространен обычай наречения имени по названию года, месяца, дней недели или по порядку рождения ребенка, то нельзя ли предположить в антропониме *Алтым* порядковое числительное «шестой», известное как древняя форма данного разряда в чувашском языке и письменных источниках [57, с. 149—150], либо собирательно-разделительное числительное [28, с. 49], либо образование антропонима по типу Бешим «мой пятый» в туркменском языке? [54, с. 44].

В списке древнетатарских и древнебашкирских имен А. Г. Шайхуловым приведены антропонимы *Алдакул*, *Алда Гэрэй*, *Алдым Гэрэй* [55, с. 55]. Составную часть последнего антропонима вряд ли можно рассматривать как глагол прошедшего времени, так как форма I лица единственного числа в составе личных имен неупотребительна [см. 6, с. 199—207; 55, с. 40—45; 40, с. 41—48; 9, с. 51—58], хотя множественное число возможно: ср. Суюндык. Сравнение антропонимов в представленном ряду позволяет полагать, что все их первые компоненты образованы от слова *ал* «передний» и, таким образом, *алда* «впереди», *алдым* «мой передний, мой ранний, первый». Для сибирского антропонима *Алтым* такое объяснение вряд ли возможно, т. к. апеллятив «передний» имеет полную основу *алт*, «впереди»—*алтта*. Подобные антропонимы не встречаются.

Другое женское имя—*Атым*, возможно, также восходит к числительному «шестой»: оно записано в ревизских сказках в составе имен

следующих членов семьи: *Ишня Бурашов* (отметим, что антропоним *Бураш* встречается в башкирских шежере у племени тамьян [23, с. 145]), сыновья *Исанбай*, *Тимирбай*, жена *Алимя*, дочери *Токбига*, *Атым*. По обычаю, сестры и братья нарекались созвучными именами: ср. сыновья *Исанбай*, *Тимирбай*. Следовало бы ожидать, что и дочери будут названы подобными именами, тем более что в арсенале антропонимов 1816 г. женских имен с компонентом *бига-пига* очень много: *Айтпига*, *Юмабига*, *Калбига*, *Бикпига*, *Альбига*, *Ачибига* и др. Однако вторая дочь (которая могла быть шестым ребенком или шестым членом семьи) носит имя *Атым*. Имя *Атым* могло также возникнуть от апеллятива *атым* «меткий» [57, с. 150] как мужское, а потом, утратив этимологическое значение, стало использоваться как женское. Таких примеров можно привести множество. В частности, в нашем списке есть женское имя *Айтым*, в казахских родословных встречается мужское имя *Айтымбет* [20, с. 94], от корня *айт* у сибирских татар, по данным 1816 г., значатся мужские имена *Айт*, *Айтыш*, *Айтмеш*, женские—*Айтпига*, *Айта*.

Очень интересна параллель к именам *Алым* и *Атым*, зафиксированным как составная часть в марийских ойконимах *Алымсола* и *Атымсола*. Оба топонима (либо варианты одного топонима?) записаны в Советском районе Кировской области: *Алым*—тетр. 32:38, *Атым*—тетр. 31:61; *сола*—мар. «деревня». *Алым* возводится Ф. И. Гордеевым к татарскому апеллятиву «алтын». Менее вероятно, по мнению автора, связь с формой глагола *алдым* «я взял». Однако в словарных материалах, из которых извлечены ойконимы *Алымсола* и *Атымсола*, имеются топонимы с компонентом *алтын*, в которых конечный согласный *н* не подвергся никаким изменениям: *Алтынбездяк*, *Алтынбай*, *Алтынсыяс*, *Алтынсуло*. Компонент *Атым* в *Атымсола* объясняется автором как заимствование из татарского языка: *Адин*, *Адина*, восходящее к персидскому источнику [10, с. 105—106, 156]. Как и в первом случае, переход *н* > *м* ничем не оправдан. Полное соответствие сибирско-татарских антропонимов *Алым* и *Атым* составным компонентам марийских топонимов *Алымсола* и *Атымсола*, вероятнее всего, свидетельствует об общем источнике их происхождения.

В связи с рассматриваемым вопросом уместно привести мнение Н. А. Томилова об этнониме *эсколба*, *ясколба*: «Возможно, что Ясколба—это в прошлом название племени или какой-то родоплеменной группы, обосновавшейся в Заболотье. Аналогии этому термину нам почти неизвестны, близкое название есть у нижнебельских башкир (род Эске Елан) [см. 25, с. 332, 370], определенное сходство обнаруживается и с названием одного из подразделений волжских булгар эскелов—кочевников, расселившихся первоначально (еще во времена Ибн-Фадлана) в левобережье Волги» [46, с. 96]. Отметим, что данный этноним бытовал также у тюменских татар (по сведениям Ф. Ахметовой), а Нижнетарманские юрты (см. ниже) по-татарски назывались *Эскёл* (информация Х. Алишиной).

В языковом отношении заболотные, или ясколбинские, татары являются носителями особого говора тоболо-иртышского диалекта, в котором ясно прослеживаются черты взаимодействия с угорскими и самодийскими языками. В то же время говор сохраняет огузские черты: отрицательную форму на *-мар* при общетюркской *-маз/-мас* от настоящего-будущего времени на *-р* [50, с. 166—173, 156]. Форма на *-мар* имеет полное спряжение в гагаузском языке, частичное в туркменском и азербайджанском, сохранилась также в чувашском отрицании *мар*, отмечена в говоре пермских татар [37, с. 102]. Эти огузские черты заболотного

говора могли быть унаследованы сибирскими тюрками в период продвижения с востока на запад огузских племен (известных под именем узов и печенегов) через Урал и Волгу в Восточную Европу в X в. [4, с. 115]. В кунгурской летописи среди тех, с кем пришлось сразиться Ермаку, упоминается имя *Печенег*: «... и Печенега княжца убиша» [22, с. 12].

Прежде чем перейти к рассмотрению контактов сибирских татар с кыпчакскими племенами, отметим еще одну линию связей сибирских татар и башкир. В башкирском народном эпосе встречается антропоним *Шүлгән*—это имя носил старший брат Урал-батыра (Тора-бара ул икәү Ике уллы булып киткән, ти—Шүлгән булган олоһо, Урал булган кесеһе [5, с. 55]) и гидроним *Шүлгән*—название озера (Өйөр башы Кара юрга Шүлгән күлдән сыгып килә...) [5, с. 232]. В Тобольском районе недалеко от Саусканских юрт существовала татарская деревня *Шөлгән*, а в Чебургинских юртах (тат. Күкрәнде) один из лугов назывался Шәүлгән (информация Ф. Ахметовой).

В материалах по топонимии и антропонимии отложилось значительное количество данных, свидетельствующих об этнических и исторических связях Западной Сибири с кыпчакскими племенами, сыгравшими решающую роль в формировании сибирских татар. Период этих контактов начался в дозолотоордынскую эпоху. Западная Сибирь, в особенности ее южные районы, были ареной многих событий, связанных с движением кочевых племен, отдельные группы которых, безусловно, оседали и на более северных землях. Исторические исследования свидетельствуют о том, что в VIII—X вв. Западная Сибирь (среднее течение Иртыша, бассейны рек Ишима и Тобола) стала местом притока больших масс кыпчакских племен [56, с. 51; 7, с. 17]. Они находились в подчинении у кимаков, «этническое ядро которых сложилось в Прииртышье после гибели Западнотюркского и Древнеуйгурского каганата (IX—XI вв.)» [27; 1, с. 5]. Об этом Н. А. Баскаков пишет: «На востоке и северо-востоке от печенегов, главным образом по среднему течению Иртыша, кочевали *кимаки*, состоявшие из двух племен—*кыпчаков* и *емеков*» [4, с. 41—42]. В сложении кимако-кыпчакского этносоциального объединения приняли также участие уйгурские и другие племена, входившие прежде в Уйгурский каганат и в середине IX в. продвинувшиеся на территорию Восточного Казахстана и на Иртыш [38, с. 90—91]. В XI в. кимаки попали в зависимость от кыпчаков, которые создали новое крупное объединение. В IX—X вв. кыпчаки были разделены на несколько групп, значительно удаленных друг от друга; самой большой была западная группа, которая занимала бассейн Ишима и Тобола до верховья Яика. В середине XI в. они продвинулись на территорию между Волгой и Уралом, а затем обосновались на приволжских землях ниже владений болгар [56, с. 51—52]. Западные кыпчаки объединяли в своем составе часть кимаков, канглы, огузов (туркмен), проживавших в низовьях Волги, хазар, печенегов, узов и другие племена [56, с. 59—60].

Хотя основная территория по среднему течению Иртыша, на которой исследователи локализуют кочевья кимакских и кыпчакских племен, и относится к Восточному Казахстану [27, с. 130; 38, с. 93], однако совершенно ясно, что в поисках новых кочевий и источников жизни экспансия кочевников не могла ограничиться лишь средним течением Иртыша. Об этом свидетельствует широкое распространение кыпчакских и древнетюркских этнонимов на территории Тобола-Иртышья. Ссылаясь на Абуль-Гази, Д. Г. Савинов пишет, что, когда уйгуры пришли в упа-

док, часть их поселилась в лесах на Иртыше и, сменив устоявшийся уклад жизни, стала заниматься рыболовством и охотой [39, с. 92].

Передвижения кыпчакских и кыпчакизированных этнических групп имели место и в XIII—XV вв. (в золотоордынское время). Они происходили на огромных пространствах от Оки до Оби и оказали большое влияние на формирование многих этносов на этой территории [26, с. 8].

Следы передвижения кыпчакских племен сохранились в большом количестве этнонимов, обозначающих различные звенья племенных и родоплеменных подразделений, а также более мелких групп, которые в разное время оседали на территории Западной Сибири. Так, например, жителей Верхнеингалских юрт Исетского района называют *каймаклар* (*каймак* < *кимак*); одна из улиц этого селения носит название *Кытай* урамы (информация Х. Алишиной). В. В. Радлов приводит в списке деревень барабинских татар аул *Каймак*, а в Тавско-Утузской волости—аул *Китан* [36, с. 243, 245]. К кыпчакско-кимакским этнонимам относятся также названия деревень и сел: *Катайка* Аромашевского, *Катай* и *Катайск* Викуловского, *Катангуй* Ишимского, *Катангуль*—Нижнетавдинского районов Тюменской области. Происхождение племен *ктай* «большинство этнографов и историков связывают с *кара-китаями* или *киданиями*, известными уже из орхонских надписей под именем «ктай» в качестве данников Тюркского каганата» [13, с. 114; 29, с. 417]. Этноним *катай*, *кытай*, *ктай* представлен у многих тюркских народов: казахов, каракалпаков, узбеков, ногайцев. Катайцы составляют одно из крупных родоплеменных объединений, входивших в состав северо-восточных башкир. Племя *катай* включало шесть родов: *инзер*-, *кузгун*-, *идель*-, *улу*-, *бала*-, *ялан*- [25, с. 220]. От последних у сибирских татар сохранились следующие этнопонимы: названия татарских юрт—*Кускуны* в Тевризском, *Яланкуль*—в Большереченском районах Омской области, *Кузгун* ялан—сенокос и *Ялан-яр*—деревня в Вагайском районе Тюменской области. *Ялан* является также одним из родоплеменных подразделений северных алтайцев [35, с. 10].

В татарских юртах Средние Тарманы Нижнетавдинского района сохраняется этноним *кираит* (информация Х. Ч. Алишиной), который восходит к древнему племени *кераитов*, имевшему тюрко-монгольское происхождение и представлявшему собой в X—XIII вв. сильное раннефеодальное государство. После разгрома Чингис-ханом значительная часть кераитов бежала вниз по Иртышу, оседая там, где это было возможно [8, с. 91]. Сибирские летописи связывают с кераитами сибирского Он-хана, положившего начало Тайбугину роду в Сибири [41, с. 17—18]. Другие источники отождествляют хана Она, или Он-Сома, с исторически известным лицом Он-ханом, государем кераитов, который был побежден Чингис-ханом [38, с. 108, 129].

Родоплеменное подразделение *керей/герей*, которое восходит к древним кераитам [8, с. 92; 25, с. 181], вошло в состав многих кыпчакских и других тюркских этнических образований, в частности, оно отмечено у башкир, казахов, каракалпаков. Близок к гэрэй-кыпчакам был также башкирский род карагай-кылчак [25, с. 179], название которого сохранилось в сибирских этнопонимах *Б.* и *М. Карагай* (татарские юрты в Вагайском районе) и в названии бывшей *Карагайской* волости племени курдак тобольских татар [36, с. 247].

Среди родовых этнонимов нижнебельских и северных башкир Р. Г. Кузеев отмечает ряд древних наименований: *карга*, *йылан*, *тугыз* и др. [25, с. 332]. Из них этноним *токуз* отмечен лишь в Вагайском районе (см. выше), тогда как *йылан*—широко распространен (*Еланские* юрты

Карагайского сельсовета, *Белая Елань* Викуловского, четыре деревни *Елань* Вагайского, Тюменского и Нижнетавдинского районов Тюменской области [51, с. 117] и две деревни *Еланка* Усть-Ишимского и Большеуковского районов Омской области [33, с. 173]). Этноним *карга* является составной частью современного топонима *Каргалы* Викуловского района Тюменской области, названия племени *каргалы* и *Каргалинской* волости барабинских татар [36, с. 44]. Сохранился он в числе названий тугумов (групп родственных семей) у барабинских татар аула Тебис [47, с. 103], отмечен у шорцев [35, с. 10].

Относительно генетических связей между башкирами-айлинцами (*айле*) и этнической группой *айалу/айалы* в составе тарских татар нами уже было высказано отрицательное мнение [50, с. 14]. Языковая неидентичность этнонимов *айле* и *айалу*, ложная этимологизация названия деревни *Эйре* из *Ай йере* «место (племени) ай», тогда как оно восходит к слову *агри* «кривой, согнутый; река, старица» (что соответствует расположению деревни на полувысохшей старице Иртыша и ее официальному названию Кипокуллары) и, наконец, несоответствие местонахождения деревень *Ай* и *Эйре*, принадлежащих тевризским татарам, территории племени *айалу*, относящегося к тарским татарам, исключают возможность отождествления башкирских и сибирских этнонимов *айле* и *айалу* и их носителей, как это делают некоторые авторы [2, с. 13—16]. К этому следует добавить, что юрты, носящие название *Ай* (рус. Нагорная Ава) [33, с. 191], по данным 1625 г., именовались Верхний и Нижний *Аю*, а в 1795 г.—*Аевскими* [46, с. 120, 134]. Таким образом, этот топоним, как и название *Аевских* болот Викуловского района, восходит к кыпчакскому этнониму *айу*, что в переводе означает «медведь».

На территории Тевризского и Большереченского районов Омской области находятся татарские юрты *Тау* (рус. Тавинск), *Кусатау* (рус. Казатово) [33, с. 210, 177], содержащие в своем названии этноним *тау*. В архивных источниках имеются сведения о существовании в прошлом Тав-Отузской, Тавинской волостей и Таутацких юрт в Тарском уезде, деревни *Таслар* айалыных татар [36, с. 245; 11, с. 54; 46, с. 134, 137—138]. В основу приведенных групп топонимов входят этнонимы *айу*, *тау* и *тас*, принадлежащие кыпчакским родоплеменным группам, которые вошли в состав башкир, казахов, каракалпаков, узбеков, ногайцев и других народов [25, с. 196, 333, 356]. Анализируя родоплеменный состав кыпчаков, К. Ш. Шаниязов предположительно относит этнонимы *аю* и *таз* наряду с *аккыпчак*, *каракыпчак*, *сарыкыпчак* к раннему слою древнекыпчакского этноса. В X—XII вв. группы под этими названиями составляли основное ядро западных кыпчаков [56, с. 56]. Этноним *таз* являлся в прошлом названием одного из раннесредневековых кыпчакских родов; в Ипатьевской летописи он упоминается в числе половецких личных и родовых имен: *Таз*—имя половецкого князя, брата Боняка, убитого в 1107 г. [56, с. 145; 8, с. 98; 3, с. 73].

Следует отметить также сходство некоторых антропонимов, зафиксированных в башкирских шежере, с топонимами и антропонимами сибирских татар. Родословная башкирского племени *Айле* включает в себя антропонимы *Акъяр би* [23, с. 39]—в Тюменском районе татарские юрты *Акъяр*; *Тайчи* [с. 166] — в Тевризском районе Омской области татарская деревня *Тайчи/Туйчи*, а у кыпчаков Ферганской долины—селение *Таячи* [56, с. 12]; у башкирского рода каракыпсак встречаются имена *Көчек би* [с. 103], *Көсөкбай* [с. 106]—у сибирских татар, по данным 1816 и 1819 гг., широко были распространены также имена и фамилии с этим онимом: *Кучук* Чурин, *Кучук* Минлибаев (Матмасовские

юрты), *Кучек* Рамазанов (Тарханские юрты), *Кучук* Куванаев (Кыштырлинские юрты), *Файзулла Кечок*, *Кечок* Аптугалин (Есаульские юрты), у башкирского племени табын—имя *Булгаир* [с. 164]—в Сибири деревня *Болгаир* и др.

Наибольшие контакты с сибирскими татарами имели казахи Среднего и Малого жузов [44, с. 75]. Известно, что казахский Малый жуз был представлен племенем алчин и семью малыми родами. В составе племени упоминаются роды *черкес*, *шихлар*, *байбакты*, *тазлар*, а среди семи малых родов—*кереиты* и *телеу* [8, с. 82], имеющие рефлексy в топонимии и этнонимии сибирских татар. Этноним *черкес* зафиксирован у барабинских татар [47, с. 103], *шихлар*, *байбакты* сохранились в названиях юрт *Шыклар* (Речапово) у тарских татар, *Байбахты* (Байбы/Ихыр)—у тевризских татар [48, с. 160, 174]. Об этнонимах *кереит* и *тазлар/таслар* упоминалось выше. Этноним *телеу* входит в состав большого числа личных имен сибирских татар, зарегистрированных в ревизских сказках 1816 г.: *Тлеи* Мурзин, *Тлеуберди* Мурзин (Канчабурские юрты), *Туленбет* Речепов (Сагандыкские юрты), *Тлеумет* Батлашев, *Тленбет* Кутлашев (Киндерские юрты). Род *телеу* является одним из подразделений табынцев в составе башкир. Этноним *телеу* известен также каракалпакам племени муйтен и ктай: *Тлеуберди*, *Тлеукуши* [13, с. 167]. Антропонимы, восходящие к этому этнониму, зафиксированы у башкир [52, с. 87] и казахов [12, с. 207—208].

Топоним *Байбахты* ясно воспроизводит кыпчакский этноним *байбакты*. «Анализ родоплеменного состава народов кыпчакской группы выявляет неизвестные ранее этнонимы, восходящие к основному населению Дешт-и-Кипчака,—пишет Р. Г. Кузеев.—Таким для примера является *байбакты*, название казахского рода Малого Жуза, в древней генеалогии которого имеется имя *Токсаба*, соответствующее названию наиболее крупного половецкого племени» [25, с. 172—173]. По-видимому, если не весь род *байбакты*, то какая-то его часть представляет собой выходцев из древних кыпчаков [8, с. 94—95]. С племенем *токсаба* связывается происхождение башкирских каракыпчаков [25, с. 176—178]. *Токсаба* является ураном каракалпакского племени кыпшак [13, с. 113].

Токсоба—раннесредневековое кыпчакское племя. Оно упоминается в числе 11 кыпчакских племен арабоязычными авторами XIII—XIV вв. [43, с. 540—542], встречается в русских летописях как наименование придонских половецких групп: *токсобичи*, *елтуковичи*, *кулобичи* и др. [53, с. 148 и 218]. Этноним *токсоба* возводится Н. А. Баскаковым к компонентам *токус* 'девять' + *оба* 'род' [3, с. 74]. «В практике наименования всех этих типов имен существовал обычай использовать для присвоения человеку названия родоплеменных объединений и, напротив, для названия родоплеменного объединения—собственное имя человека» [3, с. 50]. В варианте дастана «Алпамыш», записанного Ф. Ахметовой у заболотных татар в Лайтамакских юртах, брат Алыпмәмшэна батыр Ирнэк (по основному варианту) носит имя «Не успевший родиться Туксыба». Ф. Ахметова сопоставляет это имя с древними племенами *тухсы*, *токсоба* [42, с. 16]. Учитывая сказанное выше, можно предположить и другую этимологию этого этнонима, восходящего к имени собственному *Туксыбай*: *тухсы* (~ *тохсы*) + *бай* > *тухсыба*. Можно вспомнить, что в IX—X вв., когда кочевья кимаков занимали пространство от Иртыша до присырдарьинских степей, их соседями на юге были карлуки; к востоку и юго-востоку между карлуками и кимаками расселялась значительная группа тюрков (*тухсы*) [56, с. 50].

К этнонимам кыпчакского происхождения, общим с названиями

различных подразделений в родоплеменной структуре казахских жузов, кроме упомянутых выше, относятся *каскара*, *косай*, *кайдаул*, *сатылган*, *сеит*, *тоныс*, *кобяк* и другие, которые имеют параллели в топонимии сибирских татар. Этноним *кашкаран*, или *каскарау*, обозначавший одно из подразделений племени дулат Среднего жуза казахов [8, с. 38], входит в название *Каскаринских* юрт Тюменского района и упоминается как антропоним *Каскара* в Кунгурской летописи. Этнонимы *косай* [8, с. 61], *кайдаул*, *сатылган*, *сеиткуль*, *тоныс* [15, с. 106] встречаются в родословной структуре киреев, входивших в Малый и Средний жузы казахов как подразделения родов адай и суюндык. В Сибири они сохранились в названиях юрт *Косайкуль* (рус. Новоаптула) Аромашевского района, деревни *Кайдаулы* Вагайского района Тюменской области, аула *Кайдаул* (возможно, населенного казахами) в Павлоградском районе Омской области и в антропониме *Кайдаул* мурза (Кунгурская летопись); в топониме *Сатылган* (рус. Медяньские юрты) близ Тобольска, в названиях деревни *Сеткуловка*, юрт *Сеитово* и *Саитовских* Муромцевского, Тарского районов Омской области и Дубровинского района Тюменской области [33; 51]; этноним *тоныс* имеет соответствие в названии волости барабинских татар *Тунус* (Чангула) [11, с. 54].

Упоминающееся русскими летописями имя одного из приднепровских половцев *Кобяка* (1170—1186) восходит к апеллятиву *кѡпек/кѡбек* [3, с. 67]. Этот оним встречается в названии *Кобяковских* юрт Вагайского района и в антропониме *Кубяк* Шуюндыков (1816). Известный в начале XII в. в придонских степях половецкий род *кулобичи* [53, с. 148], восходящий к антропониму *Кулоба/Колоба*, можно сопоставить с названием племени и волости барабинских татар: *кѡлбѡ* [36, с. 242—243], *кулеба* (Тураш) [11, с. 54].

Среди казахских антропонимов XVIII—XIX вв. встречаются имена *Токсанбай*, *Сыпыра*, *Уки*, *Таз* [12, с. 208—210]. Этноним *Токсанбай* является также одним из подразделений каракалпакского племени муйтен [13, с. 47]. Данный оним обозначает и единицу административного деления племени. Т. А. Жданко приводит материал, указывающий на существование деления на токсаны у узбеков северного Хорезма еще в XIX в. [13, с. 54]. В списке населенных пунктов айалынских татар XVIII в. значилась деревня *Токсанская* (Токсайская) [46, с. 138]. Казахские антропонимы *Сыпыра* и *Уки* имеют аналогии в топонимах *Сүпра* (юрты в Вагайском районе), *Уки* (юрты в Уватском районе Тюменской области и деревня в Большеуковском районе Омской области).

Сибирские татары сохраняют также этнонимы, общие с кыпчакскими родоплеменными подразделениями, вошедшими в состав каракалпакского народа. Кроме племенных названий *кыпшак*, *ктай*, это названия более мелких групп: *сарт*, *сары*, *естек*, *калмак*, *телеу*, *таз* и другие, большая часть которых была рассмотрена выше. Приведем еще два этнонима каракалпаков: *жаманаул*, относящийся к племени колдаул, и *сабалак*, принадлежащий племени карамоюн, которые полностью воспроизводятся в названиях двух юрт *Яманаул* Велижанского и бывшего Байкаловского районов и *Себеляковских* юрт, существовавших ранее в Тобольском районе.

В сибирско-татарских топонимах сохраняются также некоторые древнетюркские этнонимы: *токуз* (см. выше), *отуз* (Утузы—тат. Отос Тевризского и Утускуны Усть-Ишимского районов) [33, с. 214], *тәпкәч* ~ *табгач*? (*Тәпкәч*—аул, в котором В. В. Радлов записал легенды о Ермаке и хане Кучуме у племени куурдак—современный Тевризский район)

[34, с. 141; 36, с. 154—156], *байгара* (Байгаринские юрты Тобольского района; встречается в родоплеменной структуре тувинцев [35, с. 13]), *танкыт* [см. 30, с. 64] (по информации Х. Алишиной, бытует в селе Мо-туши Ярковского района), *кай* [см. 30, с. 64] (Кайлы, Кайсы, Кайбаба—деревни Усть-Ишимского, Седельниковского, Кайгарлы, возможно, Кангарлы—Тевризского районов) [33, с. 177], *мангыт* (юрты Мангутсун и Киши Мангыт, существовавшие в прошлом веке у племен *Кёльбё* и *Лонга* барабинских татар [36, с. 243]) и др.

Известно, что этноним *токуз/тогуз* довольно широко представлен в структуре кыпчакских и других тюркских племен: встречается у казахов Среднего жуза, узбекского племени кунграт, башкирского племени Ай [56, с. 130]; отмечен В. В. Радловым в составе северных алтайцев [35, с. 10].

Этнонимы *токуз* и *отуз* ассоциируются с *тогуз-огузами* и *отуз-татарами* орхонских надписей [29, с. 29—30]. Анализируя племенной состав кимакского государства, в который входили емеки, татары, баяндурь и другие, Б. Е. Кумеков прослеживает появление в источниках этнонима *татар* [27, с. 41—42]: в виде *отуз-татар* он был впервые дважды упомянут в памятнике в честь Кюль-Тегина при перечислении народов, оплакивавших смерть первых тюркских каганов, и в числе врагов отца Кюль-Тегина [см. 29, с. 29—30, 36—38]; среди племен, говорящих на тюркских языках, *татар* упоминает также М. Кашгарский [см. 30, с. 64]. «В памятнике Бильге-кагану кроме *отуз-татар* в аналогичном тексте впервые зафиксированы *токуз-татары*—союзники восставших против Бильге-кагана *токуз-гузов*» [27, с. 41]. В средневековом сочинении «Худуд аль-алам» анонимного автора татары прямо причислены к *токуз-гузам* [27, с. 42]. По-видимому, они входили в Уйгурский каганат и после его падения появились в кимакской федерации как часть разгромленных *токуз-гузских* (уйгурских) племен [27, с. 42]. Кимакско-кыпчакскими племенами этнонимы *токуз* и *отуз* могли быть занесены на Иртыш.

В Нижнетагдинском районе Тюменской области расположены озера Верхние, Средние и Нижние Тарманы, на берегах которых находились Верхние, Средние и Нижние Тарманские юрты (объединенные ныне в Средние Тарманы). Топоним *Тарман* встречается в памятнике в честь Кюль-Тегина. Этимология, локализация этого древнего топонима и история государственного объединения, связанного с данной территорией, исследованы С. Г. Кляшторным [18, с. 155—180; 19]. Изучив контекст, в котором приведен этот топоним: «...назад (т. е. на запад от Восточно-Тюркского каганата) вплоть до кянгү Тармана мы поселили таким образом тюркский народ и завели в нем порядок» [18, с. 155—156], автор приходит к выводу о том, что Тарман/Тарбанд (<Турарбанд) является одной из форм наименования известной области и города Отрар, который находился на среднем течении Сырдарьи (=р. Канг). В I в. до н. э. он являлся центром государства Кангюй; в V—VIII вв. Отрар был крупнейшим городским центром на востоке Средней Азии, где сходились пути, ведущие в кочевую степь и Самаркандский Согд [18, с. 160]. На протяжении всей своей истории кангюйцы были связаны с разноразличными племенами, и их государство носило скорее политический, чем этнический характер. В сложении этнической традиции этого объединения важную роль сыграли алано-сарматские, печенежско-огузские, а затем **кимакско-кыпчакские племена** (выделено нами. — Д. Т.) [18, с. 162—178]. С названием р. Канг связывают происхождение одного из древнейших племен *канглы/каңлы*, вошедшего в состав многих

тюркских народов. Этимологически этноним *канглы* означает «обитатели рек, речной народ» [18, с. 179; 17, с. 34—77].

Топоним *Тарман*, также, вероятно, занесенный в Сибирь кимакско-кыпчакскими племенами, сохранил свое значение, связанное с оазисом, водным бассейном. В наименовании юрт проявилась свойственная кыпчакам (К. Ш. Шаниязов) традиция деления аула на части: югары аул, урта аул, түбән аул, в каждой из которых жила одна семья (ср. селения племени сарыкыпчак Булунгурского района Самаркандской области [56, с. 219]). Кыпчакской традицией является также существование зимних и летних юрт (например, Кыштырлинских Тюменского и Аманатских Ялуторовского районов), что было связано с перемещением семей и скота на летние пастбища [ср. 56, с. 214]. Существует и поселок Тарманы, соединившийся в настоящее время с Тюменью.

Наблюдения показывают, что центры локализации средневековых кыпчакских и древнетюркских этнонимов—это южные районы Тюменской области и преимущественно территория расселения бабасанских (бывший Байкаловский, ныне Тобольский район) [45, с. 146—147] и иштякско-токузских (Вагайский район) татар [см. 48, с. 158]. В Омской области множество кыпчакских этнонимов сохранилось у саргатских (Усть-Ишимский район), курдакских (Тевризский район) и аялыньских³ (Тарский район) татар. В топонимике Омской области имеются также казахские вкрапления как результат контактирования с казахами и заселения ими некоторых районов Сибири в более позднее время [44, с. 68—86]. (Естественно полагать, что южные районы средней полосы Западной Сибири более других привлекали кочевников-кыпчаков). Обилие этнонимов на рассматриваемой нами территории и самобытность языковых черт объясняются также и их консервацией, чему способствовали природно-географические условия, административно-территориальное подчинение и отсутствие дорог [см. 36, с. 244—245]. Этнонимы представлены и в топонимии барабинских татар. Однако сохранились они хуже, по-видимому, из-за малочисленности этой группы татар и малонаселенности деревень [см. 36, с. 241—244].

Для изучения топонимов на территории расселения сибирских татар и их соотношения с этнонимами большое значение имеет высказанная В. В. Радловым мысль о том, что названия волостей и деревень здесь большей частью являются родовыми и племенными [36, с. 241]. Естественно, это не избавляет от необходимости осторожного подхода к их исследованию и толкованию.

Изменения в материальном облике топонимов, прерванность связей между топонимом и его первоначальным источником могут в ряде случаев привести к неоправданному возведению его к предполагаемому этнониму. И тем не менее существование у сибирских татар и в Западной Сибири топонимов и антропонимов, имеющих параллели в древнетюркских памятниках и средневековой истории кыпчаков, заслуживает самого серьезного внимания и изучения. Рассмотренный материал в совокупности с историко-этнографическими и лингвистическими исследованиями позволяет сделать вывод о том, что язык западно-сибирских татар является живым памятником средневекового кыпчакского языка, основы которого сложились в домонгольскую эпоху.

³ Территория расселения этнических групп не совпадает полностью с административными районами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агаджанов С. Г. Огузские и кимако-кыпчакские племена: Проблемы этнополитических и историко-культурных связей в IX—XII вв. // Историко-культурные контакты народов алтайской языковой общности: Тез. докл. XXIX сессии РИАС. I. М., 1986, с. 3—6.
2. Ахатов Г. Х. Дialect западносибирских татар. Уфа, 1963.
3. Баскаков Н. А. Имена половцев и названия половецких племен в русских летописях // Тюркская ономастика. Алма-Ата, 1984, с. 48—77.
4. Баскаков Н. А. Тюркские языки. М.: ИВЛ, 1960.
5. Башкирский народный эпос. М.: Наука, 1977.
6. Бегматов Э. А. Глагольные антропонимы // Тюркская ономастика. Алма-Ата, 1984, с. 199—207.
7. Валеев Ф. Т. Западносибирские татары во второй половине XIX—начале XX вв. Казань, 1980.
8. Востров В. В., Муканов М. С. Родоплеменной состав и расселение казахов (конец XIX—начало XX в.). Алма-Ата, 1968.
9. Гарипов Т. М. О древних кыпчакских именах в антропонимии башкир // Ономастика Поволжья, 3. Уфа, 1973, с. 52—58.
10. Гордеев Ф. И. Этимологии марийских антропонимов // Вопр. марийской ономастики. Вып. 3. Йошкар-Ола, 1982, с. 101—172.
11. Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М.: Изд-во АН СССР, 1960.
12. Ергазиева Н. И. Система казахских антропонимов в деловых документах XVIII—начала XIX в. // Тюркская ономастика, с. 207—212.
13. Жданко Т. А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. Родоплеменная структура и расселение в начале XIX—начале XX века. М.—Л., 1950.
14. Инжеватов И. К. Мордовские топонимы Атяшевского района // Ономастика Поволжья, 3, с. 210—215.
15. Исенбаев Т. А., Кажибекоев Е. З. Некоторые предварительные результаты сопоставления и анализа названий родоплеменных групп адай и сундык // Тюркская ономастика, с. 96—110.
16. История Сибири, т. I: Древняя Сибирь. Л.: Наука, 1968.
17. Кайдаров А. Т. К историко-лингвистической характеристике этнонима канглы/канлы // Тюркская ономастика, с. 34—47.
18. Кляшторный С. Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964.
19. Кляшторный С. Г. Кангуйская топонимика в орхонских текстах // Сов. этнография, 1951, № 3, с. 54—63.
20. Конилов Б. А., Шван Ф. Д. Исследование кипских курганов // Этногенез и этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных территорий. Омск, 1983, с. 46—59.
21. Конилов Б. А. О тюркском компоненте в культуре населения лесного Приуралья конца I—начала II тысячелетия н. э. // Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий: Тез. докл. обл. науч. конф. по антропологии, археологии и этнографии. Омск, 1984, с. 137—141.
22. Краткая сибирская летопись (кунгурская).—СПб., 1880.
23. Кузеев Р. Г. Башкирские шежере: Тексты / Сост., пер. текстов, введ. с. 5—13 и коммент. Р. Г. Кузеева. Уфа, 1960.
24. Кузеев Р. Г. Историческая этнография башкирского народа. Уфа, 1978.
25. Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. М.: Наука, 1974.
26. Кузеев Р. Г., Моисеева Н. Н. Об этнических связях тюркских народов севера Евразийских степей в эпоху средневековья и новое время // Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий: Тез. докл. обл. науч. конф. по этнографии. Омск, 1984, с. 6—13.
27. Кумекоев Б. Е. Государство кимаков IX—XI вв. по арабским источникам. Алма-Ата, 1972.
28. Левитская Л. С. Историческая морфология чувашского языка. М.: Наука, 1976.
29. Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.—Л., 1951.
30. Муталибов С. Кошгарий М. Туркий сузлар девони, т. I. Тошкент, 1960.
31. Нурмагамбетов А. Н. О казахских этнонимах адай и шеркес // Тюркская ономастика, с. 89—96.
32. Овчинникова Е. И. К вопросу об общности топонимических типов Европейского Приуралья и Западной Сибири // Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Томск, 1969, с. 16—18.

33. Омская область: Административно-территориальное деление на 1 июля 1969 г. Омск, 1970.
34. Радлов В. В. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи, т. IV. СПб., 1872.
35. Радлов В. В. Этнографический обзор турецких племен Сибири и Монголии/Пер. с нем. Иркутск, 1929.
36. Radloff W. Aus Sibirien. B. 1. Leipzig, 1893.
37. Рамазанова Д. Б. Грамматические особенности говора пермских татар // Материалы по татарской диалектологии, 3. Казань, 1974, с. 92—112.
38. Рашид-ад-Дин. Сборник летописей, т. I, кн. 2-я, 1952.
39. Савинов Д. Г. К этнической истории уйгуров на территории Южной Сибири // Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий: Тез. докл. по антропологии, археологии и этнографии. Омск, 1984, с. 90—93.
40. Саттаров Г. Ф. Отглагольные антропонимы в татарском языке // Ономастика Поволжья, 3. Уфа, 1973, с. 41—48.
41. Сибирские летописи, изд. археологической комиссии. СПб., 1907.
42. Татар халык ыжаты. Дастаннар./Төзүче Ф. В. Әхмәтова. Казан, 1984.
43. Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды, т. I. СПб., 1884.
44. Томилов Н. А. Казахи Западной Сибири в конце XVI—первой четверти XIX в. // Этногенез и этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных территорий. Омск, 1983, с. 68—86.
45. Томилов Н. А. Лингвистическая классификация и этническая дифференциация тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1983, с. 139—147.
46. Томилов Н. А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины в конце XVI—первой четверти XIX в. Томск, 1981.
47. Томилов Н. А., Кузнецов Н. В. Опыт изучения этнического состава барабинских татар // История, археология и этнография Сибири. Томск, 1979, с. 96—103.
48. Тумашева Д. Г. Диалекты сибирских татар: Опыт сравнительного исследования. Казань: Изд-во КГУ, 1977.
49. Тумашева Д. Г. Көнбатыш Себер татарларының теле: Грамматик очерк һәм сүзлек. Казан, 1961.
50. Тумашева Д. Г. Язык сибирских татар, кн. 2-я. Казань: Изд-во КГУ, 1968.
51. Тюменская область: Административно-территориальное деление. Тюмень, 1957.
52. Ураксин З. Г. Башкирские антропонимы из этнонимов // Ономастика Поволжья, 3. Уфа, 1973, с. 86—88.
53. Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М., 1966.
54. Чарыяров Б. Х., Атаниязов С. Диалекты и туркменская антропонимия // Сов. тюркология, 1976, № 1, с. 42—48.
55. Шайхулов А. Г. Татарские и башкирские личные имена тюркского происхождения: Учеб. пособие. Уфа, 1983.
56. Шаниязов К. Ш. К этнической истории узбекского народа: Историко-этнографическое исследование на материале кыпчакского компонента. Ташкент, 1974.
57. Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (Имя). Л.: Наука, 1977.

О Н О М А С Т И К А

И. В. ДРОН

ГИДРОНИМЫ ГАГАУЗОВ МОЛДАВСКОЙ ССР

(СУБСТРАТЫ—«ЗОЛОТООРДЫНСКИЙ» И БУДЖАКСКО-НОГАЙСКИЙ)

Пребывание тюркских народов и племен на территории Днестровско-Прутского междуречья, смена одного тюркского племени или народа другим—непрерывный процесс, продолжающийся уже более полутора тысяч лет. В IV в. здесь побывали гунны—конгломерат тюркских и алтайских племен, в V в. их сменили авары [1. С. 298], а их, в свою очередь, в VII в.—булгары («дунайские»).

839 г.—дата предполагаемого первого столкновения предков восточных романцев с печенегами на Днестре или Дунае [2. С. 288—293]. В 895 г. объединенные силы печенегов и «дунайских» булгар одержали победу над мадьярами в южной части Днестровско-Прутского междуречья (далее—ДПМ) [3. С. 186]—конец IX в. считается временем обоснования печенегов на территории будущей Молдавии. Печенеги и другие родственные им тюркские племена постепенно переходили к оседлому образу жизни и смешивались с местным населением, в том числе восточно-романским (в междуречье Днестра и Прута из нескольких десятков известных кочевнических погребений X—XIV вв. подавляющее большинство определяется исследователями как печенежско-торческие; даже в золотоордынское время в ДПМ сохраняется «старое» кочевое население с преобладанием печенежско-торческой культурной традиции) [4. С. 194—195]. Вслед за печенегами в пределах территории, на которой происходило формирование будущего Молдавского феодального государства, появляются тюркские племена узов (*гузы*—название тюрков в русских летописях), о которых впервые упоминается в источниках, датированных 1064 г., когда они перешли Дунай и проникли на территорию Византийской империи [5. С. 75—80]. Куманы (в русских летописях—*половцы*, в византийских—*куманы/команы*, в арабских и персидских источниках—*кипчаки/кыпчаки*) пришли на территорию ДПМ в 1067—1071 гг. и господствовали в определенных зонах вплоть до нашествия монголо-татар Золотой Орды. Ко времени восстания болгар и владов на Балканском полуострове под руководством Петра и Асеня против византийского гнета в 1185 г. половецкие кочевья уже **располагались к северу и югу от Нижнего Дуная** [6. С. 5—18, 244—250, 260—300].

В 1227 г. источники отмечают существование Куманской епархии с центром в *Civitas Milcoviae* на р. Милков, на территории Южно-Восточного Прикарпатья. Во время монголо-татарского нашествия православная епархия куманов была уничтожена и смогла возродиться только в 1279 г. [7. С. 81]. Позднее куманы на территории Молдавии в истори-

ческих источниках не упоминаются—это связано с тем, что часть половцев ушла в Венгрию, часть—в Болгарию, большая же их часть и остатки других тюркских племен присоединились к монголо-татарам; значительная часть половцев (на территории Карпато-Днестровского региона) была ассимилирована местным восточно-романским и славянским населением (одновременно следует отметить, что название Днестровско-Прутских земель у западноевропейских авторов—«Кумания»—в XI—XIV вв.—обычная aberrация источников) [8. С. 193].

В первой половине XIII в. территорию ДПМ занимают монголо-татары. После 1242 г., например, одна из монголо-татарских орд—улус темника Ногая—обосновалась на Нижнем Дунае и юге ДПМ. После гибели Ногая (в 1300 г.) большая часть ближайших родственников темника сдалась на милость хана-победителя Тохты, что позволило им сохранить структуру возглавляемых ими кочевых объединений (основная масса бывших подданных Ногая, вне всякого сомнения, осталась кочевать и при новой власти на крайних западных землях Дешт-и-Кыпчака—позднее они стали называть себя ногайцами) [9. С. 61—63].

В первой половине XIV в. в Золотой Орде сложились объективно благоприятные условия для хозяйственного развития районов с оседлым населением, чему во многом способствовала установившаяся до конца 50-х гг. относительно мирная внутривластная обстановка [10. С. 42—44]. В этот период происходит интенсивное заселение находившихся под властью Золотой Орды глубинных районов ДПМ. Существование экономически развитой золотоордынской области в юго-восточной части Днестровско-Карпатских земель с центром в Орхей-Веке [11], с местными военно-административными центрами монгольской власти оставило глубокие следы в хозяйственном освоении ДПМ, в регламентации торговли и сборе государственных податей [12. С. 161—162] и особенно в топонимии, гидронимии и антропонимии края [13]. По нашему мнению, к топонимам, возникшим в золотоордынское время на территории Молдавии, необходимо отнести Белочи (Рыбницкий район), Одая (Лазовский, Ниспоренский и Резинский районы), Табаны (Бричанский район), Токуз (Каушанский район), Тигеч (Леовский район), Ялпуг (Чимишлийский район). В славяно-молдавских грамотах встречаются названия: Бахматовци (1429 г.—в настоящее время Бахмут Каларашского района; в скобках указывается дата упоминания того или иного топонима в грамотах), Кочурхан (1532 г.—село у Кигечева леса), Кучур (1442 г.—село в Черновицком цынуте), Мордвина (1437 г.—село на Днестре), Мырзешть (1470 г.—село в Орхейском цынуте), село Манево Татарское (1437 г.), Татары (1472 г.), Татараны (1484 г.), Татарешты (1487 г.), Тигина (1452 г.), Тонгузень (1483 г.—село в Ясском цынуте); гидронимы: Гогылник (1470 г.—приток р. Реут), Кула (1463 г.), Татарка (1438 г.—приток р. Жижица), Тебана (1616 г.—речка в Орхейском цынуте), Ялан (1445 г.—правый приток р. Прут), Ялпуг (1445 и 1448 гг.), Яхорлык (1588 г.—левый приток р. Днестр), а также антропонимы: Башя (1429 г.), Беркиш (1445 г.), Карагюзел (1573 г.—хотинский пыркалаб), Карагюзел (1587 г.—стольник), Козар (1443 г.), Мырза, сын Станчула, пыркалаба крепости Аккерман (1471 г.), Мырзак (1595 г.—из селения Цыплешть Сорокского цынута), Татарул, дед Михаила (1609 г.), Тунгул (1483 г.), Чагрым, отец Алексы (1573 г.), и др.—все связанные в той или иной мере с существованием золотоордынской области на территории ДПМ.

Название бывшей столицы золотоордынской области в ДПМ—молд. Орхейул Веке (букв. Старый Орхей; другой Орхей—название одного из

районных центров Молдавии, расположен в 46 км от Кишинева) также, на наш взгляд, тюркско-монгольского происхождения и возникло в золотоордынский период. Топонимы Орхеул Веж и Орхей восходят непосредственно к тюркско-монгольскому *örge* 'ставка правителя'. Прежде г. Улан-Батор—столица Монгольской Народной Республики—назывался Урга, так как возник именно там, где находилась ставка хана [14. С. 118—119]. Мы считаем, что и название Кишинёв (молд. Кишинэу)—также тюркского происхождения, и его образование связано именно с золотоордынским периодом (<тюрк.-перс. *keşene* 'замок; каменное надгробное сооружение; кирпичный мавзолей').

В 1484 г. турки захватывают у Молдавского средневекового феодального государства крепости Килия и Аккерман (Белгород), которые в конце XV в. были включены в Силистрийский санджак. В 1538 г. турки отторгнули от Молдавии Тигину с округой (Тигина была переименована в Бендер); вскоре на захваченной османами территории формируются Бендерский и Аккерманский санджаки. В XVII в. на юге ДПМ турками была образована Измаильская райя, включавшая в себя и г. Рени (после 1620 г. территория Рени вместе с сельской округой была превращена в вакуф, то есть была отдана в собственность мусульманскому духовенству) [15. С. 137—138, 6, 34, 57, 104, 108]. Буджакские степи на юге ДПМ были заселены ногайцами и частично крымскими татарами. В 1672 г. силистрийский паша—Халил, уполномоченный турецким султаном, определил северные и западные границы владений ногайцев в ДПМ. Северной границей служил Верхний Траянов вал до его пересечения с р. Ботна (на востоке) и р. Ялпуг (на западе). Западной границей должна была служить р. Ялпуг от Верхнего Траянова вала до с. Тобак, отсюда граница продолжалась до р. Прут; на юге и востоке владения и кочевья ногайцев граничили с территориями Измаильской райи, Аккерманского и Бендерского санджаков. Номинально границы владений и кочевий ногайцев в ДПМ сохранились до 1807 г. [16], когда подавляющее большинство ногайцев Буджака было переселено царским правительством в Ставрополье, на Кубань, в Приазовье, Крым; часть ногайцев добровольно переселилась в валахскую Добруджу (следует отметить, что ногайцы селились и кочевали и за пределами указанных и отведенных границ в ДПМ).

Опустевшие селения ногайцев в Буджаке были заселены государственными крестьянами: русскими, украинцами, молдаванами и задунайскими переселенцами, значительную часть которых составляли гагаузы—турки. Таким образом, со времени расселения в ДПМ тюркских племен и народов прошло более полутора тысяч лет, и это нашло отражение в топонимии, гидронимии и антропонимии края.

В данной статье нами рассматриваются гидронимы гагаузов Молдавии—субстраты: «золотоордынский», буджакско-ногайский—наиболее мощные тюркские субстраты в современной гидронимии гагаузов.

Гидронимия гагаузов до сего времени не освещалась в работах советских и зарубежных авторов, хотя как система названий географических объектов она достаточно развита, исследование ее представляет интерес и в историческом аспекте.

Все гагаузские поселения на территории ДПМ расположены к западу от линии р. Чага—оз. Китай, то есть именно в тех местах, где к началу XIX в. проживало ногайское или смешанное—ногайско-молдавское население.

В бассейнах рек Ялпуг и Кагул находятся следующие населенные

пункты с гагаузским населением (только территория Молдавской ССР) [17]:

- на р. Авдарма, пр. пр. р. Лунга, л. пр. р. Ялпуг—с. Авдарма;
- на р. Кагул—с. Николаевка, п. Вулканешты, с. Етулия;
- на р. Казаяклия, пр. пр. р. Лунгуца, пр. пр. р. Лунга, л. пр. р. Ялпуг—с. Казаяклия;
- на р. Лунга, л. пр. р. Ялпуг—с. Кириет-Лунга, с. Бешгёз, г. Чадыр-Лунга;
- на р. Лунгуца, пр. пр. р. Лунга, л. пр. р. Ялпуг—с. Томай, с. Гайдар;
- на р. Салча/Салчия, пр. пр. р. Ялпуг—с. Дерменжи, с. Карбалия;
- на р. Сары су, л. пр. р. Ялпуг—с. Копчак/Кыпчак;
- на р. Ялпуг—с. Буджак, г. Комрат, с. Кирсово, с. Бешалма, с. Конгаз;

на р. Ялпужел, пр. пр. р. Ялпуг—с. Кырланены (офиц. Котовское). Таким образом, 19 населенных пунктов [18] из 32 расположены в бассейнах рек Ялпуг и Кагул; остальные 13 населенных пунктов с гагаузским населением также находятся на территории, ограниченной географическими рамками бассейнов рек Ялпуга, Кагула и Когыльника, однако здесь нет сколько-нибудь значительных водных источников.

Названия золотоордынского времени

Золотоордынский период в истории Молдавии охватывает 1241—1242 годы—время нашествия монголо-татарских орд—и конец XIV—начало XV в., когда монголо-татарские феодалы были вытеснены за пределы территории Молдавского феодального государства. Если учесть, что в Молдавском государстве на обычном волошском праве проживало не только романоязычное население, но и татары (так они именуются во всех славяно-молдавских грамотах XIV—XVI вв.—о них, например, сообщается в 1470 г.) [19. С. 67], то верхний временной предел существования и продолжения контактов между молдаванами и тюркоязычными представителями золотоордынской области в ДПМ и их потомками можно датировать 1470 г. Следовательно, золотоордынский период охватывает более 200 лет. От тюрок Золотой Орды и их потомков молдаване унаследовали подавляющее большинство тюркских названий в ДПМ. Впоследствии названия наиболее крупных географических объектов, в том числе тюркских золотоордынского времени, гагаузы заимствовали из разговорной речи молдаван и частично из речи ногайцев Буджака (однако в настоящее время невозможно отметить, именно в каких населенных пунктах имели место ногайско-гагаузские языковые контакты).

Известно, что разноплеменное население Золотой Орды по преимуществу было тюркоязычным, а к концу XIV в. не только массы золотоордынцев, но и все ханы пользовались тюркским языком [20. С. 82], следовательно, и гидронимы ДПМ этого времени должны быть в своей основе преимущественно тюркскими.

Ялпуг. Наиболее крупной из упомянутых рек является Ялпуг, протекающая по территории Молдавии и впадающая в оз. Ялпуг—лиманное озеро на территории современной Одесской области; площадь 134 км², глубина до 6 м [21. С. 1569]. Гидроним Ялпуг (Ялпух) был хорошо известен, например, Дм. Кантемиру (1673—1723) [22. С. 11, 26].

Гидроним Ялпуг/Ялпух (в молд. фольклоре—Яллэу) [23. С. 96] впервые встречается в одной из славяно-молдавских грамот, датированной февралем 1445 г.—под аллонимом Илп [24. С. 357]. В связи с этой да-

тировкой отпадает, на наш взгляд, необходимость в этимологизировании гидронима Ялпуг (гаг. варианты: Яалпу, Яалпы), связанного с пребыванием на территории ДПМ ногайцев Буджака, турок и гагаузов (турки в Буджаке появляются только в конце XV в., ногайцы заселили Буджак в начале XVI в., а гагаузы переселились сюда только в конце XVIII—начале XIX в.). В то же время ввиду близости значений тюркских апеллятивов, несомненно, восходящих к единому тюркскому этимону, к которому восходит и гидроним Ялпуг, трудно определить конкретную тюркскую языковую принадлежность (ср., например, *йалпы/йалбы/жал-пак/чалбак/ялпы/ялпак/ялпакъ* 'плоская, ровная низина; долина; плоский; широкий; мелководный' в гаг., азерб., башк., древнетюрк., кирг., ног., татар. (диал.), тувин., туркм. и др.).

Кагул. Гидроним Кагул (под аллонидами Кахов и Кахул) встречается в славяно-молдавских грамотах XVI в.; предположительно—тюркского (огузского) происхождения (необходимо отметить, что ДПМ и Нижнедунайские степи продолжительное время оставались местом пребывания и концентрации различных тюркских народов и племен, в том числе огузских—узов, торков, печенегов и других, которые в XIII в. частично влились в состав золотоордынских государственных образований). Известно, что в микропонимах и микрогидронимах значительное место занимают отантропонимические и генеонимические элементы и образования. К одному из тюркских генеонимов (антропонимов, эпонимов) может, вероятно, восходить и гидроним Кагул (молд. Кахул; гаг. Кахул и Каул). Ср. тюрко-огуз. эпосный антропоним: *Темюр Кагул/Тёмюрдю Кагул* [25. С. 25, 93].

Салча/Салчия. *Салчия* А. И. Еремией отнесен к гидронимам молдавского происхождения [26] (<молд. *сълчие* 'ива; верба', однако это, на наш взгляд, неправомерно). По-нашему мнению, *Салчия* восходит к двум древним тюркским гидрокомпонентам: первый—булг. (ср. и чуваш.) *сал/сыл* 'родник; источник; река; речка'; второй—*ча/-чия* <огуз.-кыпчак. *чай* 'река; река в ущелье; небольшая река; речка'. Предположим, что некогда речка называлась на языке одного из тюркских племен *Сал*, позже—*Салча* < *Салчай*, но уже на языке другого тюркского племени, где *чай* означало 'река, речка', то есть 'речка, река Сал'. (В молд. говорах гидроним Салчия отождествляется с молд. апеллятивом *салчие* 'ива; верба').

Катлабуга/Катлабух. Речка Катлабуга/Катлабух впадает в озеро Катлабух; название встречается в летописи Г. Уреке (1590—1647 гг.) [27] в связи с описанием одного из военных сражений между молдаванами и турками в Буджаке в 1485 г. (на севере от оз. Катлабух в 6 км расположена ж.-д. ст. Котлабух) [28. С. 459].

Данное название, возможно, восходит к одному из тюркских генеонимов—*катлабуг* (*Кутлубуга*). Ср. имя *Кутлуг-Буга*—одного из беков племени *найман* в Золотой Орде, а также имя монголо-татарского бека *Кутлубуга*, одного из трех монголо-татарских беков, потерпевших поражение в 1362 г. [29. С. 133, 76, 83] в сражении с литовско-русскими войсками при Синих Водах. Среди Чингисидов в XIII—XIV вв. имена с антропокомпонентом *Буга* являются довольно распространенными. Ср. антропонимы: *Кутулбуга*—сын хана Токты, ставший в начале XIV в. правителем бывшего улуса Ногай; *Тулабуга*—один из правивших после Берке ханов; *Кутлубуга*—наместник хана Джанибека; *Ариг-Буга*—один из претендентов на престол Золотой Орды в XIII в. [30. С. 49, 77, 152, 159, 182, 184].

Не исключено, что в начале *Кутлубуга/Катлабуга* называлась ка-

кая-либо долина или местность в районе расселения тюрков, подвластных одному из золотоордынских беков по имени Кутлубуга или Катлабуга (ср. и название Катлабуга по ГРМС, 600, при помощи которого в настоящем гагаузы Молдавии называют территорию долины р. Катлабуг/Катлабух). Следует отметить, что в названиях мелких рек и речек, а также небольших местностей довольно часто встречаются этно- и антропонимические образования, что совершенно не характерно для названий крупных рек.

Эти предположения подтверждаются и историческими данными. Известно, что после нашествия Батыя часть орд, входивших в улус темника Ногай, обосновалась на равнинах между Дунаем и Днестром, включив в состав своих кочевий южные степи Днестровско-Карпатского региона. После событий 1362 г. и становления Молдавского феодального государства еще долгое время в славяно-молдавских грамотах земли и территории юга ДПМ и в районе устья Дуная продолжали называться «татарская сторона; татарские страны» [31. С. 29, 65—69, 47—48, 400]. С. 400].

Буджакско-ногайские гидронимические образования

Буджакско-ногайские гидронимы в ДПМ образованы преимущественно в период с конца XVI в.—XVIII в. [32. С. 22, 83, 143—150].

Первая группа гагаузских гидронимов буджакско-ногайского происхождения—это генеогидронимы: **Казаяклия**, р.—пр. пр. р. Лунгуца, пр. пр. р. Лунга, л. пр. р. Ялпуг; **Чага**, р.—л. пр. р. Когыльник (Кундук) <ног. генеонимов; *казаяклы*; *чага*, а также гидронимы, образованные самими буджакскими ногайцами на основе собственных буджакско-ногайских гидротерминов.

Авдарма, р.—пр. пр. р. Лунга, л. пр. р. Ялпуг (<тюркско-кыпчак. *авдарма/айдарма* 'опрокинутый; сваленный; обваленный'; с. Авдарма гагаузы изредка называют еще *Авдырма*, и еще реже—*Алдырма*). Ср.: казах. *авдарма/айдарма* 'опрокидывание; перемена'; караим. *авдармак* 'опрокидывать; свалить; провалить'; каракалп. *айдарма* 'опрокинутый; проваленный; сваленный'; ног. *авдарув* (*авдар-*) 'опрокидывать; переворачивать'; *авдарылув* 'быть опрокинутым, перевернутым, сваленным'.

Название *Авдарма* в языке буджакских ногайцев первоначально, видимо, относилось только к долине, по которой протекает речка, и отражало какую-то особенность рельефа долины или какие-либо морфометрические характеристики берегов р. Авдарма [33. С. 119].

Кундук (с. Чалык), р.—пр. пр. р. Ялпуг (ср. и Кундук—аллоним р. Когыльник, впадающей в оз. Сасык (Кундук)—лагунное соленое озеро на побережье Черного моря в Одесской обл., площадь озера—210 км², глубина до 3 м, соединено с морем проливом Кундукская пролива—СЭС, 1167).

Гидронимы типа *Кундук*, по нашему мнению, восходят к тюркско-монгольскому *кондуй/хөндүй* (возможно, заимствованному, в свою очередь, из тунгусо-маньчжурских языков). Ср.: эвен. *кунтэк*, *кунтук*, *кунтэк* 'поляна; луг; степь; ровное, гладкое место; поле; пашня; сухая тундра', но и 'песчаный берег реки; долина'; руч. Кунтэкэндэ в Якутии; руч. Кунтээн в Хабаровском крае [34. С. 314]; Көндүк (ущелье и населенный пункт на территории Киргизии); монг. *хөндүй* 'широкая долина; пещера'; р. Барун-Кондуй, протекающая по территории Читинской области [35. С. 379].

В некоторых тюркских диалектах (не исключено, что и в буджакско-

ногайских) *кудук/қидиу* 'колодец; берег' (ДТС, 463), несомненно, произносился и *кундук* (ср. тюрк. и эвенк. *кудук/кэудугэ* 'колодец; источник; ручей с соленой водой; берег') [36. С. 64, 122]. Звук *н/ң* и в настоящее время сохраняется в ряде тюркских апеллятивов и географических названиях в позиции между *у* и *к*, *р* и *с*, *а/е* и *та/те*, *а/е/и* и *к*.

Например, тюрк. *чукур*, но кирг. *Бооке Чуңкур*, *Чуңкурчак* (где *чуңкур*—впадина) [37. С. 84], Тернъек>Терек, р. на Северном Кавказе<др.-т. *тернъек/теръюк* 'родник; источник; ручей' (ДТС, 555); к.-балк. *меннъе* 'мне', *санныъа/сеннъе* 'тебе', *аннъа* 'ему', но алт. *саа/сее* 'тебе', *аа* 'ему', *маа/мее* 'мне'; гаг. *Ашаанкы* (и *Ашаакы*) *маала* [38. С. 30]. Ср. также туркмен. *гара-кундук*—название чугунного сосуда для кипячения чая и *ак-кундук*—название медного кувшина для мытья рук [39. С. 75].

Черак, р.—пр. пр. р. Ялпуг (ср.: караим. *черакъ* 'источник воды'; турец. *çorak* 'солончак; солоноватый; горький (о воде)'; балкар. *черек* 'вода; река').

Чокрак, р. (*Чокрак дереси*—аллоним этой же речки, известный в с. Конгаз)—л. пр. р. Ялпужел, пр. пр. р. Ялпуг (ср. ног. *чокрак* на Кубани 'родник; источник'; караим. и крымско-татар. *чокрак/чохран/чокъ-ракъ* 'источник; родник'; совр. ног. *шокрыак* 'ручей; родник; источник'; крымские гидронимы: *Молла-оглу-чокрак* и *Чобан-чокрак*) [40. С. 176, 191].

Близкими к рассматриваемым гидронимам являются названия гагаузов, восходящие к ряду буджакско-ногайских первичных топо- и гидронимов. Эти гидронимы—изафет II типа.

Мешен дереси (г. Комрат), ручей—пр. пр. р. Ялпуг. Элементу *мешен* нельзя найти объяснение ни в одном из современных языков Молдавии. На территории современной Молдавии известны два населенных пункта Мешены (молд. Мешень; на территории Леовского и Резинского районов), другой населенный пункт Чукур-Мешень (расположен на территории Кагульского района) в 1950 г. переименован в Рошица [41. С. 252, 272]—приведенные топонимы А. Еремией отнесены к названиям с неясной этимологией [42. С. 125]. В гагаузском языке известен апеллятив *мешя* 'лес; дуб', однако распространение топонимов типа *Мешень* за пределами территорий, заселенных гагаузами, и существование с. Мешены (молд. Мешень) Леовского района еще в XVI в. [43. С. 165] дают, как нам кажется, основание связывать топоним *мешен* (*мешень*) с пребыванием ногайцев в Буджаке. Мы предполагаем, что *мешен* являлся одним из генеонимов буджакских ногайцев. В языке буджакских ногайцев в ряде слов в препозиции смычный звонкий *б* мог соответствовать или быть заменен смычно-проходным носовым *м*. Ср.: гаг. *бән/бен* 'я'; турец. *ben* 'я'; др.-т. *ben* 'я', но: ног. *мен* 'я'; др.-т. *теп* 'я'; тувин. *мен* 'я'; якут. *мин* 'я' и др., а также в ранних памятниках азербайджанского языка *мән* и *бән* 'я'. По признаку *бен* и *мен* в древнем тюркском языке выделялись два массива, приравненные к двум диалектным особенностям [44. С. 179, 196]. Таким образом, можно предположить, что в буджакско-ногайском языке, где, несомненно, сохранились более архаичные древнетюркские фонетические и морфологические формы, *мешен* развилось из *бешен* или являлось вариантом формы *бешен*.

Бешен/Бешень, как нами ранее отмечалось [45. С. 99, 108], являлся в раннемолдавском языке этнонимическим вариантом названия печенегов (молдавское с. Кодру Теленештского района до 1965 г. именовалось Бешень).

Вероятно, в родоплеменной организации буджакских ногайцев бы-

товал и генеоним *мешень-* или *бешень* (в родоплеменную организацию буджакских ногайцев могли влиться остатки не ассимилированных восточными романцами и славянами печенежских и куманских племен Карпато-Днестровья).

Джанали/Джаналия дереси (г. Комрат), р.—пр. пр. р. Лунга, л. пр. р. Ялпуг. Название восходит к ногайскому антропониму Джанали/Джанали [46. С. 153].

Йозакай дереси (с. Джолтай), р.—пр. пр. р. Лунга, л. пр. р. Ялпуг. *Özök/özek/озек/öзокай/йозокай/йозакай*—является довольно распространенным тюркским гидрокомпонентом со значениями: 'балка'; 'проток'; 'река'; 'речка'; 'ручей: небольшая ложбина' [47. С. 406, 407] (ср. и ног. *öзакай/öзокай* 'балка'; 'речка', а также др.-т. *öz* 'долина; проход между горами'; *özäk* 'узкий проход в горах; ущелье' (ДТС, 395); современным дагестанским ногайцам известен термин *өзек* в значении 'ручей; река').

Чокрак дереси (с. Казаклия), р.—пр. пр. р. Лунгуца, пр. пр. р. Лунга, л. пр. р. Ялпуг (см. пояснения к гидрониму *Чокрак*; гаг. *derä* 'река; речка; ручей').

Тюркмен дереси (с. Казаклия) [48. С. 601, 372, 83, 13—17], р.—восходит к генеониму буджакских ногайцев *туьркмен* (ср.: генеоним акногайцев *туьркпен*; генеоним каракалпаков *туркменкара*; др.-т. племя *türkmen* (ДТС, 599).

Непосредственно с фактом пребывания буджакских ногайцев в ДПМ связано и образование фонтанонимов: **Йозокай** (с. Авдарма), родник (см. пояснения к *Йозакай дереси*); **Татар пынары** (с. Кириет-Лунга), колодец; **Татар чешмя** (с. Карбаля), родник. Первое из приведенных названий гагаузами унаследовано от буджакских ногайцев, второе и третье образованы гагаузами и связаны с проживанием ногайцев в этих местах (гагаузы ногайцев называли *татарами*; в гагаузском фольклоре этноним *ногай* 'ногаец' неизвестен; этноним *ногай* зафиксирован в молдавских летописях, фольклоре и молдавской антропонимии).

Можно сделать вывод, что названия наиболее значительных водных объектов (рек, речек, озер) в регионе расселения гагаузов Молдавии являются «золотоордынского» и буджакско-ногайского происхождения (исключение составляют рр.: Лунга, Лунгуца, Ялпужел—притоки р. Ялпуг, имеющие молдавское происхождение; гаг. аллоним р. Ялпужел—Ялпужук, возможно, является калькой с молд. Ялпужел).

Анализ происхождения гидронимов гагаузов Молдавии позволяет восстановить ряд генеонимов буджакских ногайцев, районы расселения тюркоязычных племен и народностей в Днестровско-Прутском междуречье, наличие тюркского субстрата «золотоордынского» времени и субстрата буджакско-ногайского происхождения не только в гидронимии гагаузов, но и в гидронимии юга междуречья в целом, что способствует изучению истории развития и взаимодействия этносов на территории Днестровско-Прутского междуречья.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Немец Ю. К. вопросу об аварях // В кн.: *Turcologica*. К семидесятилетию академика А. Н. Кононова. Л., 1976.

² Подробнее об этой гипотезе см.: *O mențiune inedită despre românii din secolul al IX-lea în Oguzname—cea mai veche cronică turcă de Mehmet Ali Ekrem* // В: *Studii și cercetări de istorie veche și arheologie*. 1980, № 2 (Tomul 31). București.

³ *Giurescu C. C., Giurescu D. C. Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi*. București, 1975.

- ⁴ Добролюбский А. О. Об археологическом изучении средневековья в Молдавии // В кн.: Археологические исследования средневековых памятников в Днестровско-Прутском междуречье. Кишинев, 1985.
- ⁵ Istoria lumii în date. București, 1969.
- ⁶ Князький И. О. Письменные источники о кочевниках в Днестровско-Карпатских землях XI—XII вв. // В кн.: Проблемы источниковедения истории Молдавии периода феодализма и капитализма. Кишинев, 1983; Князький И. О. О половецких епископиях в Карпато-Дунайских землях (сообщение) // В кн.: Социально-экономическая и политическая история Юго-Восточной Европы до середины XIX в. Кишинев, 1980; Плетнева С. А. Половецкая земля // В кн.: Древнерусские княжества X—XIII вв. М., 1975.
- ⁷ Istoria lumii.
- ⁸ Добролюбский А. О. Об археологическом изучении...
- ⁹ Добролюбский А. О., Руссев Н. Д. Новые аспекты изучения кочевнических древностей на западе Золотой Орды // В кн.: Археологические исследования средневековых памятников в Днестровско-Прутском междуречье. Кишинев, 1985.
- ¹⁰ Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. М.; Л., 1960; Егоров В. Л. Развитие центробежных устремлений в Золотой Орде. // ВИ, 1974, № 8.
- ¹¹ Советский исследователь Г. Ф. Богач считает, что название города Оргеев (молд. Орхей) восходит к молд. (исчезнувшему) апеллятиву *орхей* 'укрепление; крепость' (Г. Богач ши Е. Рикман. Ун ораш медиевал пе Ботна. Контрибуций археоложичеши топонимастиче // Култура Молдовей, 1958, 5 января).
- ¹² Полевой Л. Л. Очерки исторической географии Молдавии XIII—XIV вв. Кишинев, 1979.
- ¹³ Подробнее об этом см.: Дрон И. В. К вопросу о периодизации тюркско-молдавских взаимосвязей // В сб.: Славяно-молдавские связи и ранние этапы этнической истории молдаван. Кишинев, 1983.
- ¹⁴ Юдин В. П. Орды: Белая, Синяя, Серая, Золотая // В кн.: Казахстан, Средняя и Центральная Азия в XVI—XVIII вв. Алма-Ата, 1983.
- ¹⁵ Гросул Я. С. Труды по истории Молдавии. Кишинев, 1982; Гонца Г. В. Молдавия и османская агрессия в последней четверти XV—первой трети XVI в. Кишинев, 1984.
- ¹⁶ Формаря наций бургезе молдовенешть. Кишинэу, 1985, п. 25—27.
- ¹⁷ Наименования населенных пунктов приводятся в порядке их расположения по отношению к истокам конкретных рек. Условные сокращения означают: пр. пр.—правый приток; л. пр.—левый приток; г.—город; с.—село; селение; п.—посёлок.
- ¹⁸ Полный список гагаузских поселений на территории современной Молдавии см.: Дрон И. В. Названия гагаузских сел Молдавской ССР // Советская тюркология, 1982, № 4.
- ¹⁹ Параска П. Ф. Территориальное становление Молдавского феодального государства во второй половине XIV в. // В кн.: Социально-экономическая и политическая история Юго-Восточной Европы до середины XIX в. Кишинев, 1980.
- ²⁰ Григорьев А. П. Официальный язык Золотой Орды XIII—XIV вв. // Тюркологический сборник. 1977, М., 1981.
- ²¹ Советский энциклопедический словарь. М., 1984; далее—СЭС.
- ²² Кантемир Дмитрий. Описание Молдавии. Кишинев, 1973.
- ²³ Alexandri V. (Poezii populare ale românilor. București, 1982.
- ²⁴ Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Volumul I. București, 1975.
- ²⁵ Короглы Х. Огузский героический эпос. М., 1976.
- ²⁶ Еремия А. Нуме де локалитэць. Кишинэу, 1970, п. 36, 170.
- ²⁷ Уреке Г. Летописецул Цэрий Молдовей. Кишинэу, 1971. См. Указатель географических названий.
- ²⁸ История городов и сел УССР. Одесская область (на украинском языке). Киев, 1969.
- ²⁹ Юдин В. П. Орды... Параска П. Ф. Территориальное становление... Ср. и генеоним бугу, известный в VIII в. в племенном союзе *токуз-огузов* (Кляшторный С. Г. Тэсинская стелла // Советская тюркология, 1983, № 6.).
- ³⁰ Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. М., 1985.
- ³¹ Полевой Л. Л. Очерки... Мохов Н. А. Очерки истории формирования молдавского народа. Кишинев, 1978; Батюшков П. Н. Бессарабия. Историческое описание. СПб., 1892. Crestomatie turcă. Izvoare narative privind istoria Europei Orientale și Centrale (1263—1683). București, 1978.
- ³² В данной статье мы употребляем термин «буджакско-ногайский» с целью разграничения исторически известных ногайцев Буджака (по письменным источникам) и ногайцев бывшего улуса Ногай, которые также побывали в ДПМ, язык, духовная и материальная культура которых пока не исследованы и не освещены в советской литературе. Одновременно в сложном термине «буджакско-ногайский» есть, на наш взгляд,

этнонимический смысл. Не исключено, что *буджак бужак* у тюрков употреблялся и в качестве этнонима. В прошлом, например, было известно у туркмен племя *бужакли* (Винников Я. Р. Родоплеменной и этнический состав населения Чарджоуской области Туркменской ССР и его расселение // Труды Института истории, археологии и этнографии Академии наук Туркменской ССР. Серия этнографическая. Ашхабад, 1962. Т. VI). Г. Д. Агаев считает, что после нашествия золотоордынцев на Азербайджан ногайцы в дальнейшем (речь идет о ногайцах, бывших под предводительством Нугая/Ногай) распались на несколько племен, среди которых можно назвать *буджагов*. Он полагает, что жители селений под названием *Буджаг*—потомки ногайцев, которые в дальнейшем смешались с другими тюркскими племенами (Агаев Г. Д. Данные этнотопонимии о расселении тюркоязычных племен в Азербайджане XI—XV вв. // В кн.: Этническая ономастика. М., 1984).

33 -*Ma/-me* в современном ногайском языке—продуктивный аффикс, образует от глагольных основ имена существительные со значением предметности: *булма* 'пруд' (*був-* 'перегораживать'), *уйирме* 'вихрь, водоворот' (*уйир-* 'вращать'), *бурама* 'вертушка' (*бур-* 'вертеть')—Грамматика ногайского языка. Фонетика и морфология. Черкесск, 1973. Ср. также: узб. *упирлма* 'обвал'; *бурма* 'складка (земной коры)'; *босма* 'печатание'; турец. *dogma* 'рождение'; *уарта* 'деланный; фальшивый'.

34 Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М., 1984.

35 История Сибири. Т. I. Древняя Сибирь. Л., 1968.

36 Более широко семантику апеллятива *кудук/кюдугъ* см. у Хабичева М. А. К гидронимике Карачая и Балкарии. Нальчик, 1982.

37 Конкобаев К. Топонимия Южной Киргизии. Фрунзе, 1980.

38 Марунович М. В. Поселение, жилище и усадьба гагаузов Южной Бессарабии в XIX—начале XX в. Кишинев, 1980.

39 Логаинова Б.-Р. Туркмены Ирана. М., 1976.

40 Гулиева Л. Г. К вопросу о топонимической синонимии // В кн.: Ономастика. М., 1969; Суперанская А. В. Гидронимы Крыма и Северо-Западного Кавказа // В кн.: Ономастика. М., 1969.

41 Молдавская ССР. Административно-территориальное деление на 1 июня 1978 г. Кишинев, 1978.

42 Еремия А. Нуме...

43 Нудельман А. А. Клад золотых и серебряных монет XVI—начала XVII в. из Буджака // В кн.: Археологические исследования средневековых памятников в Днестровско-Прутском междуречье. Кишинев, 1985.

44 Гаджиева Н. З. Тюркоязычные ареалы Кавказа. М., 1979.

45 Дрон И. В. К вопросу о периодизации.

46 Ногайские народные сказки. М., 1979.

47 Мурзаев Э. М. Словарь. О бытовании термина *обзек* у дагестанских ногайцев нам любезно сообщила М. А. Булгарова, за что автор приносит ей свою благодарность.

48 Гагаузо-руско-молдавский словарь ГРМС. М., 1973. Гагаузам Молдавии известен и фонтаноним *Тукал пынары* (с. Бешалма), в котором элемент *тукал* в гагаузском означает 'болгарин (живущий в Молдавии)'. Элемент *тукал* в гагаузском, возможно, является древним и восходит к др.-т. *toy-* 'рождаться' (ср.: карачаево-балкар. *туугъан* 'родимый; родной'; эвенк. *д'уган* 'семья'—Исторический фольклор эвенков. М.; Л., 1966). *Туган* является антропокомпонентом в башкирских и казахских именах (ср. антроп. *Айтуган* в башк. и казах. антропонимиконе—Шайхулов А. Лексико-семантическая общность башкирской и казахской антропонимии // В кн.: Этническая ономастика, М., 1984). По нашему мнению, гагаузский аллоэтноним *тукал* был образован таким же образом, как и тюркские этнонимы: *тюрк*, *печенег*, *башкир* (Подробнее см.: Баскаков Н. А. О происхождении этнонима *башкир* // В кн.: Этническая ономастика. М., 1984).

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. Г. КОНДРАТЬЕВ

О РАЗВИТИИ В ЯЗЫКЕ

(НА МАТЕРИАЛЕ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА)

Существующие в лингвистике точки зрения на то, что следует понимать под развитием в языке, самые различные. Ряд лингвистов считает, что все изменения в языке, в том числе и в языковой технике, обусловлены возрастающими потребностями общения. Так, Р. А. Будагов пишет: «Потребности (в широком смысле) говорящих на данном языке людей— вот основной фактор развития всякого языка. ...Между подобными потребностями и ресурсами языка в каждую историческую эпоху возникают противоречия. Они-то и определяют движение и совершенствование языка. Все остальные многочисленные факторы—сами по себе существенные—оказываются в той или иной степени зависимыми от этого основного, центрального фактора» [1. С. 36]. Аналогичной точки зрения придерживается и В. А. Звегинцев, по мнению которого «эволюция языка отражает пару взаимодействующих сил, но конечным направлением этой эволюции всегда оказывается направление, обусловленное теми целями, ради которых существует сам язык, т. е. целью общения в самом широком смысле этого слова» [2. С. 22]. М. М. Гухман, также рассматривая развитие языка как его абсолютный прогресс, заключает: «Бесспорной всеобщностью обладает утверждение: все языки изменяются в зависимости от изменения общественного бытия их творцов и носителей. Положение это является диахронической универсалией, в которой отражается одно из важнейших свойств, одна из важнейших онтологических характеристик языка. Вместе с тем эта диахроническая универсалия определяет пути изучения различных аспектов изменения языка. Наиболее прямолинейно и отчетливо проявление этой диахронической универсалии—в функциональном развитии языка, в тех преобразованиях, которые происходят в системе форм его существования. Поскольку, однако, сущность изменений общественного бытия—развитие, переход от низших форм к высшим, то и изменения языка, отражающие процессы общественного развития, ведут в конечном счете к прогрессу языка» [3. С. 44—45].

Таким образом, в соответствии с этой точкой зрения развитие языка рассматривается как совокупность различных процессов, которые в целом определяются ведущей тенденцией, направленной к удовлетворению потребностей общения. Такая трактовка смешивает разные явления—изменения языковой техники и абсолютный прогресс развития языка, тогда как необходимо четко различать изменения, отражающие процессы общественного развития, и те изменения, которые пред-

ставляют собой изменения только языковой техники. Первый вид изменений и есть абсолютный прогресс в языке [4. С. 123]. К их числу относится прежде всего расширение словарного состава, так как в первую очередь именно в нем отражаются изменения общественного бытия носителей языка. Можно предположить, что в известной мере абсолютный прогресс в языке отражается и в некоторых изменениях синтаксиса, хотя провести четкую границу между изменениями, отражающими абсолютный прогресс в языке, и изменениями в языковой технике часто бывает очень трудно.

С нашей точки зрения, следует воздержаться от традиционной оценки изменений в языковой технике. Б. А. Серебренников пишет: «Язык обладает целым рядом свойств, присущих различным орудиям труда. В процессе применения любого орудия или инструмента совершенствуется техника производства, улучшается сам инструмент... Применение языка в качестве средства общения неразрывно связано с постоянным стремлением к улучшению языковой техники, ведущей к улучшению языкового механизма» [4. С. 40—41]. К тенденциям, улучшающим языковую технику и языковой механизм, он относит, в частности, стремление к выражению различных значений разными формами, к созданию четких границ между морфемами, к употреблению более экспрессивных форм [4. С. 56—79].

Однако дать однозначную оценку тому или иному изменению языковой техники довольно сложно. Существующая в языке тенденция к выражению разных значений разными формами в значительной мере определяет и развитие грамматического строя турецкого языка. Проявляется она в сфере глагольных форм: в турецком языке произошло увеличение числа временных форм изъявительного наклонения, в систему которого вошли формы *-uog*, *-makta*, *-acak* и соответствующие сложные формы *-yogdu*, *-maktaydi*, *-acakti*. Процесс вхождения формы *-uog* в систему индикатива, т. е. ее становления, завершился к XVI—XVII вв., хотя в тот период частотность ее употребления была еще незначительной [5. С. 26]. В современном турецком языке эта форма выражает несовершенное действие, протекающее или мыслящееся как протекающее в момент речи [6. С. 130]. В староанатолийско-тюркском языке XIII—XV вв., который может рассматриваться как начальный период развития турецкого языка, особой формы с этим значением не было. Действие, совпадающее с моментом речи, передавалось формой настоящего-будущего времени *-g* [7. С. 95]. Эта форма в определенных позициях, при наличии обстоятельственных слов или общего контекста, могла обозначать действие актуальное, реализующееся или реализуемое в момент сообщения.

С XVII в. начинает употребляться форма *-makta*, имеющая значение непрерывной протяженности [5. С. 37]. Как и форма *-uog*, она передает длительность действия, совершающегося в момент речи, и в то же время дополнительно указывает на то, что действие уже началось.

В XVI—XVII вв. в составе временных форм изъявительного наклонения появилась форма будущего категорического времени (*-acak*), однако более широко она стала употребляться только с XVIII в. [5. С. 44].

Одновременно в оборот вошли соответствующие сложные формы, представляющие собой простые времена, употребляемые по отношению к фону прошлого [8. С. 69—70].

Значительное усложнение системы глагольных форм наблюдается и в ряде индоевропейских языков. Вот как говорит об особенностях развития глагольного словоизменения в германских языках М. М. Гухман: «В отличие от многих древних индоевропейских языков, в том числе и:

иранских, древние германские языки характеризовались простой и бедной системой видовременных, модальных и залоговых оппозиций. Два времени—презент/претерит, не соотнесенные с видовыми характеристиками, три наклонения—индикатив/императив/конъюнктив ~ оптатив, реликтовая оппозиция актив/медиопассив—таков был формальный инвентарь, наличествовавший у истоков глагольной парадигматики современных германских языков. Развертывание этой примитивной словоизменительной парадигмы происходит в германских языках на базе процессов парадигматизации преимущественно сочетаний частичных глаголов и именных форм спрягаемого глагола, а также путем вовлечения (в готском и скандинавских языках) некоторых лексических группировок» [3. С. 81—82].

Значительно расширилась система глагольных форм в романских языках. Например, в современных французском, итальянском и испанском языках временных форм изъявительного наклонения намного больше, чем в латинском—источнике романских языков.

Но можно ли считать развертывание глагольной парадигмы «совершенствованием языкового механизма»? Если стать на такую точку зрения, то придется признать, что изменение в противоположном направлении означает его ухудшение. В русском языке произошло упрощение системы времен изъявительного наклонения: в древнерусском языке использовались аорист, перфект, имперфект и плюсквамперфект, а в современном русском языке значения указанных форм формально не различаются. Аорист первоначально употреблялся в славянских языках для обозначения недлительного, продолжавшегося короткое время, в некоторых случаях—даже мгновенного прошедшего действия. В древнерусскую эпоху (к XIII—XIV вв.) это первоначальное значение было уже забыто и аористом пользовались во всех тех случаях, когда известное прошедшее действие нужно было изобразить просто как факт, имевший место в прошлом [9. С. 252]. Перфект употреблялся не просто для констатации какого-нибудь факта, имевшего место в прошлом (как аорист), а для обозначения такого прошедшего действия, результат которого продолжается и в момент высказывания [9. С. 58]. В современном русском языке форма -л является единственной, «общей» формой прошедшего времени.

В старояпонском языке прошедших времен было много [10. С. 106—142]. Прошедшее -ки являлось простым прошедшим временем, форма -тари—формой прошедшего времени со значением перфекта. Прошедшее -цу указывало на законченность действия, причем эта форма часто использовалась как показатель исчерпанности состояния. Прошедшее -ну означало завершенность действия в прошлом. Форма -кэри была давнопрошедшим временем. Аффиксы прошедших времен могли сочетаться друг с другом. В современном японском языке используется только одно прошедшее время—форма -та, происшедшая от -тари.

В дравидийских языках заметного сокращения числа временных форм изъявительного наклонения не отмечается, их там и так немного—всего восемь. Так, в тамильском языке используются настоящее, будущее и прошедшее, в телугу—настоящее-будущее и прошедшее, в каннада—настоящее, будущее и прошедшее. Однако ни в одном отдельно взятом языке все восемь форм не представлены. Число их колеблется от двух до шести [11. С. 298—300]. Японский и дравидийские языки представляют для нас особый интерес, так как имеют ряд типологических особенностей, сближающих их с турецким языком.

Если предположить, что в турецком, германских и романских язы-

ках произошло «улучшение» языковой техники за счет развития системы временных форм, то следует допустить, что в русском и японском языках языковой механизм ухудшился, а в дравидийских языках в течение длительного времени он оставался без изменения. Но это, разумеется, не соответствует действительности. Точно так же нельзя рассматривать упрощение системы временных форм как отражение совершенствования языковой техники.

По мнению Б. А. Серебrenникова, совершенствование языковой техники в языке происходит посредством употребления более экспрессивных форм. Он пишет: «Факты из истории различных языков достаточно наглядно свидетельствуют о том, что при наличии нескольких форм с параллельными или близкими значениями предпочтение отдается наиболее экспрессивным формам. В древнеанглийском языке было несколько суффиксов множественного числа имен существительных. Множественное число выражалось суффиксами *-as*, *-u*, *-a*, *-an*. Исторически наиболее устойчивым оказался суффикс *-as* как наиболее четкий и фонетически устойчивый по сравнению с другими окончаниями» [4. С. 75—76]. Между тем в голландском языке продолжают параллельно употребляться формы *-s* и *-en*, причем последняя используется очень широко.

Н. З. Гаджиева считает, что аффикс родительного падежа *-nı*, аффикс винительного падежа *-nu* и аффикс дательного падежа *-ga* по своей языковой выразительности имеют явные преимущества перед *-ın*, *-u* и *-a* [12. С. 3—15]. Нам это положение представляется спорным. Аффиксы *-ın* (после основ на согласный), *-u* и *-a* используются в современном турецком языке. Аффикс дательного падежа *-a* является результатом фонетических изменений формы аффикса с согласным в анлауте. В староанатолийско-тюркском языке XIII—XV вв.—предшественнике и основе турецкого языка—в отдельных случаях еще встречались падежные аффиксы *-nı*, *-nu*, *-ga*, однако их употребление уже в тот период носило реликтовый характер и, возможно, было связано с влиянием других тюркских языков. А. Н. Кононов пишет: «Фонетико-грамматические и лексические элементы трех (огузской, кыпчакской, карлукской) групп тюркской семьи языков явились базой малоазиатско- или анатолийско-тюркского языка, на которой возник и развился турецкий (османский) письменно-литературный язык» [13. С. 257]. В кыпчакских и карлукских языках продолжают использоваться варианты указанных аффиксов с согласным в анлауте. Если бы они действительно имели какие-то преимущества перед формами аффиксов без начального согласного, то в турецком языке должны были бы употребляться именно эти формы аффиксов, но этого не произошло. Поэтому говорить о большей экспрессивности тех или иных форм не приходится. Даже если и предположить, что та или иная форма «более выразительна», то сразу возникает вопрос, почему же в турецком языке закрепились именно менее экспрессивная форма? Это означало бы «ухудшение» языковой техники.

Развитие в некоторых языках придаточных предложений индоевропейского типа, вводимых союзами, также рассматривается иногда как совершенствование языковой техники: «Синтаксический строй древних финно-угорских языков очень напоминал синтаксический строй тюркских языков. В древних финно-угорских языках не было придаточных предложений, почти не было союзов, широко были распространены причастные, деепричастные и абсолютные обороты. Под влиянием индоевропейских языков в таких языках, как прибалтийско-финские, венгерский, саамский, коми и мордовский, возникли придаточные предложе-

5 «Советская тюркология», № 2

ния индоевропейского типа, вводимые союзами, резко сократилось количество причастных и деепричастных оборотов. И это понять не трудно. Придаточные предложения индоевропейского типа, вводимые союзами, более удобны с лингвотехнической точки зрения, их структура более прозрачна и технически более совершенна» [14. С. 203].

Но можно ли считать, что придаточные предложения «индоевропейского типа» действительно обладают определенными преимуществами по сравнению с соответствующими им причастными и деепричастными оборотами? Уже в староанатолийско-тюркском языке использовались придаточные предложения индоевропейского типа, вводимые союзами *kí* и *kím*. Однако в современном турецком языке сфера использования таких предложений не расширилась. Преобладают обороты с причастиями, деепричастиями и именами действия. М. Эргин пишет, что «в турецком языке обычно используются простые предложения. Богатая система причастий и деепричастий дает возможность передавать самые сложные значения в составе простого предложения» [15. С. 382]. Он отмечает, что придаточные предложения индоевропейского типа, вводимые союзом *kí*, употребляются относительно редко и структура сложно-подчиненных предложений, в состав которых входят такие придаточные предложения, «противоречит строю турецкого языка» [15. С. 382—383]. Данные по турецкому языку представляют особый интерес, так как этот язык подвергся значительному влиянию индоевропейских языков, и прежде всего—славянских и греческого [16. С. 151, 232]. Очевидно, что если бы придаточные предложения индоевропейского типа имели какие-то преимущества и были «более совершенными с лингвотехнической точки зрения», то сократилось бы число причастных и деепричастных оборотов и увеличилось число придаточных предложений, вводимых союзами.

Финские лингвисты считают, что именно причастные обороты, эквивалентные придаточным предложениям индоевропейского типа, являются положительным для финского языка. З. М. Дубровина пишет: «Употребление образованных с помощью именных форм глагола эквивалентов предложений считается одним из преимуществ синтетического строя финского языка по сравнению с индоевропейскими (например, шведским и немецким) языками, так как эти конструкции позволяют в немногих словах сказать многое» [17. С. 34].

В современном японском языке придаточных предложений индоевропейского типа нет. Не получили они широкого развития и в дравидийских языках, несмотря на тесные контакты с индоевропейскими языками.

Конечно, было бы неправильно рассматривать причастные и деепричастные обороты, эквивалентные придаточным предложениям индоевропейского типа, как признак более совершенного грамматического строя. Можно лишь говорить о том, что в разных языках существуют свои способы передачи дополнительного центра предикации, в равной мере успешно обеспечивающие потребности языкового общения.

В турецком языке, как и в других агглютинативных языках, граница между морфемами обычно достаточно четкая [18. С. 126]. Однако и в нем наблюдается слияние морфем. Так, форма настоящего времени -уог есть результат слияния аффикса деепричастия -а с настоящим-будущим временем -г глагола уйгі- «ходить» [19. С. 223]; аспект невозможности образуется с помощью аффикса -ата, возникшего после слияния аффикса деепричастия -а с отрицательной формой глагола и-«мочь». Если рассматривать тенденцию к созданию четких границ между

морфемами как усовершенствование языкового механизма, то слияние морфем следует считать его ухудшением, а это противоречит действительности.

Все сказанное убедительно доказывает, что оценка изменений, происходящих в грамматическом строе языка,—задача крайне сложная. Поэтому при исследовании процессов в грамматическом строе конкретных языков следует воздержаться от характеристики их с точки зрения «совершенствования» языкового механизма. По нашему мнению, развитие в грамматическом строе языка означает переход из одного состояния в другое. Происходящие изменения имеют определенную направленность, обусловленную преобладающим влиянием тех или иных универсальных языковых тенденций на различных этапах развития языка. Например, в турецком языке на протяжении всей его истории преобладает тенденция к выражению разных значений разными формами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Будагов Р. А. Проблемы развития языка. М.; Л., 1965.
2. Звегинцев В. Н. Структурная лингвистика и теория экономии А. Мартине // В кн.: Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях. М., 1960.
3. Гухман М. М. Историческая типология и проблема диахронических констант. М., 1981.
4. Серебренников Б. А. Об относительной самостоятельности развития системы языка. М., 1968.
5. Грунина Э. А. Индикатив в турецком языке (в сравнительно-историческом освещении). М., 1975.
6. Джанашиа Н. Н. Морфология турецкого глагола. Тбилиси, 1981.
7. Грунина Э. А. Соотношение форм настоящего и будущего времени по памятникам турецкого языка XIII—XVI вв. // В кн.: Вопросы тюркской филологии. М., 1966.
8. Иванов С. Н. Курс турецкой грамматики: Грамматические категории глагола. Л., 1977. Ч. 2.
9. Черных П. Я. Историческая грамматика русского языка. М., 1962.
10. Колпакчи Е. М. Очерки по истории японского языка. М., 1956.
11. Андронов М. С. Сравнительная грамматика дравидийских языков. М., 1978.
12. Гаджиева Н. З. О тенденциях в развитии морфологического строя тюркских языков // Сов. тюркология, 1976, № 5.
13. Кононов А. Н. К истории формирования турецкого письменно-литературного языка // В кн.: Тюркол. сб. М., 1978.
14. Серебренников Б. А. О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983.
15. Ergin M. Türk Dil Bilgisi. Sofya, 1967.
16. Еремеев Д. Е. Этногенез турок. М., 1971.
17. Дубровина Э. М. Инфинитив и причастие как дополнительное ядро предикации в финском предложении // Вопросы финно-угорской филологии. Л., 1977.
18. Мельников Г. П. Принципы системной лингвистики в применении к проблемам тюркологии // В кн.: Структура и история тюркских языков. М., 1971.
19. Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.; Л., 1956.

Я. Ф. КУЗЬМИН-ЮМАНАДИ

О ГЕБРАИЗМАХ В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ

Проблема гебраизмов в чувашском языке является малоизученной и весьма спорной, хотя возникла она более двух веков тому назад. Впервые слова, похожие на древнееврейские, были замечены в чувашском языке еще в XVIII в. русскими миссионерами, прибывшими в чувашский край для обращения инородцев в христианство. По просьбе этих служителей культа в начале XIX в. с чувашским словником ознакомился известный ориенталист того времени, профессор Казанского университета Д. Х. Френ, который, обнаружив в словнике, наряду с тюркизмами, фарсизмами, арабизмами, еще и древнееврейские слова, сделал заключение, что язык этот не может считаться местным финно-угорским, каким его считали до этого, а представляет собой своего рода «помесь наречий» выходцев откуда-то с юга, по-видимому, пришельцев «из бывшей Хазарии». Хотя высказывания Френа не были тогда опубликованы в печати, — о них мы узнаем лишь из письма другого профессора того же университета К. Ф. Фукса и из упоминаний об этом в трудах акад. А. А. Куника [12. С. 119—120, 143], — тем не менее гипотеза эта получила в то время широкий отклик среди местной интеллигенции, внушая многим мысль о «хазарском происхождении чуваш» [22. С. 129; 28. С. 32].

После отъезда Френа в Петербургскую академию наук в Казани разработкой выдвинутой им гипотезы занимались его последователи. Сперва эту работу продолжала местная писательница А. А. Фукс, многократно предпринимавшая экспедиции по чувашским селениям и в 1840 г. опубликовавшая свою книгу, в которой писала: «Я начинаю соглашаться с мнением, что чуваш, в самом деле, не потомки ли хазар, — и что у Нестора хазары то же, что наши чуваш» [28. С. 32]. Однако, не будучи ориенталистом, Фукс не смогла существенно продвинуть вперед решение этой проблемы и ограничилась в основном описанием внешнего быта и культуры современных ей чуваш. Гораздо больший вклад в развитие идеи Френа внес проф. Казанской дух. акад. Е. А. Малов, который занимался изучением лексического состава чувашской религиозной терминологии и в 1882 году опубликовал свою работу под названием «О влиянии еврейства на чуваш» [14]. Хотя и его работа не была свободна от некоторых ошибок, но тем не менее она явилась прямым продолжением исследований Френа — в ней автор возводил к древнееврейским архетипам слова *торă*, *киремет*, *кене*, *йёрёх* 'названия божеств', *юмăç*, *карт* 'названия служителей культа', *çинçe* 'название праздника', *иймат* 'суббота', *сылăх* 'грех', *перекет* 'изобилие', *чйк* 'моление' и др. Строя догадки о путях проникновения гебраизмов в чувашский

язык, Малов писал: «По всей вероятности, чувашаи заимствовали эти слова в то время, когда на низовьях Волги жили хазары, исповедовавшие еврейскую веру» [14. С. 146]. Почти одновременно с Маловым гебраизмами в чувашском языке интересовался и этнограф В. К. Магницкий, который возводил к древнееврейским этимонам слова *çыр*, *йёрĕх* 'божества', *амин* 'истинный', *пилĕк* 'участок земли', *меслет* 'метод', *шатан* 'демон' и др. [13. С. 29, 81, 107, 146, 261, 262].

Однако после этих публикаций Малова и Магницкого дальнейшие работы, связанные с гипотезой Френа, полностью прекратились. Причиной тому послужило распространение «новой» гипотезы о болгарском происхождении чуваш: в 1863 году в столичной печати появилась статья Фейзханова, сообщавшего об обнаружении чувашских слов в эпитафиях мусульманских надгробий из Тархана [27. С. 395—403], а позднее такие же «чувашизмы» были обнаружены и на других надгробиях средне-волжских золотоордынцев XIII—XIV вв., считавшихся «българскими», в связи с чем многие лингвисты уверовали в идентичность чувашского языка с болгарским, а историки ввели в обиход гипотезу Татищева о происхождении чуваш от болгар. Эта гипотеза, естественно, не согласовалась с наличием гебраизмов в чувашском языке, так как болгары не были связаны с евреями, даже находившимися в Хазарии: евреи появились там в VIII веке н. э. и ушли из Хазарии после падения каганата в 965 году, а болгаро-сувары в это время обитали в Прикамье, за тысячу километров от Итиля. Кроме того, болгаро-сувары были мусульманами: еще до приезда к ним Ибн-Фадлана они исповедовали ислам, что тоже не могло способствовать проникновению элементов иудаизма и гебраизмов в их среду. Исходя из этих соображений, многие чувашские лингвисты отказались от дальнейших изучений гебраизмов как «несовместимых с исторической действительностью», а выявленные ранее соответствия стремились представлять как заимствования из других языков.

Выражая эту точку зрения, Г. Комиссаров, например, писал: «Многие слова, обозначающие религиозные понятия и вошедшие в чувашский язык, как бы объяснимы помощью еврейского языка ... но те же слова... объяснимы и помощью арабского языка, и чувашаи могли позаимствовать их не от евреев, а прямо от арабов, в послехазарскую болгарскую эпоху» [11. С. 315—316]. Этой же точки зрения придерживались и основатели современной чувашской лексикологии Золотницкий, Ашмарин, Егоров и другие, которые предпочитали в своих работах вообще не упоминать о гебраизмах или объяснять их на материалах других языков [8; 2; 6]. Такому отношению способствовала также сложность самой проблемы, так как наиболее древние заимствования в чувашском основательно адаптированы и нелегко поддаются выявлению. Ввиду этих причин многие гебраизмы чувашского языка до последнего времени оставались неизученными, хотя они и представляют большой научный интерес.

Желая привлечь внимание исследователей к этой незаслуженно забытой проблеме, ниже мы публикуем этимологии ряда гебраизмов, которые ранее не рассматривались или же были отнесены к другим источникам.

1. *Šakkul-makkul* 'человек с коротко остриженными волосами'; *šakkul-makkul ača* 'ребенок с коротко остриженными волосами'; *šakkul-makkul puš* 'наголо остриженная голова'. Время появления лексемы в чувашском языке определить невозможно ввиду отсутствия древних письменных источников. В других тюркских языках она не имеет фонетических и семантических соответствий. В «Этимологический словарь

чувашского языка» В. Г. Егорова не вошло. Восходит к древнееврейскому выражению $\text{מַגּוּלָּה מְכַלָּל}$ (*šākkūl mēgulla*) 'осиротелый по-

стриженный родитель', где *šākkūl* 'родитель, потерявший детей', *mēgulla* 'оголенный, остриженный': *šākkūl mēgulla* > *šākkul-makkul* [евр. графика по 29. С. 605; 31. С. 145]. Выражение сохранилось от древнего обычая стричь волосы по случаю глубокого траура.

2. *Salaš*—название обряда трехкратного благословения бога, совершаемого обычно при открывании новой бочки с напитками или при разговлении плодами нового урожая; *šalaš tu* 'произнести трехкратное благословение'; *šalaš kurki* 'обряд освящения нового лива с трехкратным испытанием его и благословением бога'. Время появления в чувашском языке тоже неизвестно. В других тюркских языках не имеет соответствий. В этимологический словарь Егорова не вошло. Восходит к др.-евр.

שָׁלוֹשׁ (*šālōš*) 'три': *šālōš* > *šalaš* [граф. 30. С. 492].

3. *Šāpār*, *šāpārila*—название ритуала разбивания яйца над умирающим больным или слабым новорожденным; *šāpār tu* или *šāpārila* 'совершить обряд разбивания яйца'; *šāpārila* 'смертельная болезнь'. В других тюркских языках не имеет соответствий. В этимологический словарь

Егорова не вошло. Восходит к др.-евр. שָׁבַר (*šābōr*) 'разбить, раз-

бивать, разломать': *šābōr* > *šāpār* [граф. 31. С. 908]. Производная форма *šāpārila* образована путем аффиксации показателем переходного глагола *šāpār* + *-la* > *šāpārila*. Сам обряд разбивания бытует также у некоторых евреев [21. С. 335].

4. *Šāmat* 'суббота'; *šāmat kun* 'субботный день'; *šāmat pasarē* 'субботный базар'. Восходит к др.-евр. שַׁבָּת *šabbāt* 'суббота', в кото-

ром замещен не свойственный чувашскому произношению геминированный звонкий согласный *bb* > *m:šabbāt* > *šāmat*, так как чередование *b ~ m* в тюркских языках является закономерным (ср. *bamuk ~ tamuk* 'вата'; *bin ~ min* 'я' и т. д.). Слово проникло не только в чувашский, но и в другие языки в ареале бывшего хазарского региона (см. караим., крымчак. *šabbat*, балк., карач. *šabat*, авар. (андо-цезск. диал.) *šabat*, *šarat*, марий. *šumat*, венг. *szombot* 'суббота'), что позволяет предполагать о заимствовании его через посредство хазарских тюрков. В караимский и крымчакский языки могло перейти и непосредственно из еврейского. В марийский и венгерский языки перешло в чувашском фонетическом оформлении.

На заимствование чувашского *šāmat* из еврейского указывали ранее Малов [14. С. 148], Золотницкий [8. С. 108—109], Самойлович [23. С. 109], Федотов [26. С. 248], Мусаев [16. С. 35]. В. Г. Егоров считал его продуктом контаминации евр. *šabbāt* с перс. *šāmbā* 'суббота' [6. С. 333].

5. *Šāpār* 'рог, труба, старинный духовой музыкальный инструмент, игрой на котором сопровождалась ритуальные торжества'; *šāpār kala* 'играть на этом инструменте'; *šāpāršā* 'музыкант, играющий на таком инструменте'. Некоторые соответствия имеются и в других языках (см. др.-евр. *šōpār* 'рог, труба, музыкальный инструмент'; араб. *šubur*, перс. *šejpur* 'рог, труба'; марий. *šūvūr* 'волынка', хак. *šor*, тув. *šoor*, тат., каз.,

ккалп., кирг., ног., карач., балк. *sybyzgy*, алт. *sybysky*; башк. *hybyzgy* 'свисток, свирель, дудка'). Егоров возводил чувашское *šăpăr* к перс. *šej-pur* 'труба музыкальная' [6. С. 334], М. Р. Федотов — к араб. *šubur* 'рог, труба' [25. С. 112]. Нам представляется более вероятным заимствование

его из др.-евр. שופר (*šōp:ār*) с закономерным замещением *p: > p:*

:*šōp:ār > šăpăr* [граф. 30. С. 504; 7. С. 239]. Такая этимология представляется более достоверной не только из-за лучшего фонетического соответствия, но и потому, что в обоих языках слово означает ритуальный инструмент: чуваша игрой на нем сопровождали все праздники и тризны, музыкант, играющий на нем, приравнивался к духовным лицам [5. С. 117], а евреи *šōp:ār* хранили даже в синагоге, на нем трубили в дни всепрощения, извещающая об «открывании и закрывании небесных врат» и проч. Что же касается тюркских *sybyzgy/hybyzgy* 'свисток, свирель, дудка', то они образованы от звукоподражательной основы и не связаны с семитским корнем *šp:r*.

6. *Šatān* 'демон, сатана' (не следует отождествлять с широкоизвестным арабизмом *šajtān*, перешедшим в чувашский язык в форме *šajtan*, *šujtan* 'чёрт'); *usal šatān* 'злой демон'; *šatān ċirĕ* 'ломота'. В других тюркских языках не имеет соответствий. В этимологическом словаре Егорова сопоставлено с тюрк. *šād* 'наместник, визирь' и араб.

شیطان 'безобразный' [6. С. 331]. Магницкий возводил к др.-евр. *šud*,

šed 'темная сила, злой дух', что, по-видимому, несколько ближе к истине [13. С. 146]. Однако более вероятно заимствование его из библейской

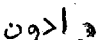
формы שָׂטָן (*šātān*) 'противник, демон, сатана': *šātān > šatān* [граф. 29. С. 602].

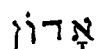
7. *Šyr* — название одного из божеств чувашской мифологии, считавшегося покровителем плодородия; *šyr părăxnă šĕr* 'бесплодная земля'; *puļăx parakan xĕrlĕ šyr* 'божество, дарующее плодородие'. В других тюркских языках не имеет соответствий. В этимологический словарь Егорова не вошло. Магницкий возводил к др.-евр. צור (*sūr*) или

צֶרֶף (*šōr*) 'камень, скала', встречающемуся в библейских текстах

в качестве одного из синонимов бога Яхве: *šūr/šōr > šyr* [13. С. 29]. Такая этимология представляется вполне убедительной, так как и другие названия богов чувашской мифологии восходят к библейским синонимам Яхве. Известно, что имя самого бога Яхве было табуировано, и иудеисты заменяли его различными эпитетами и синонимами. Предки чуваш восприняли эти синонимы как названия самостоятельных божеств, поскольку были язычниками. Некоторые синонимы Яхве, по мнению Сбоева, заимствованы как кальки, в переводе на чувашский язык, например: Иегова — Цебаот, или Саваоф — в форме *çĕltu toră* 'всевышний бог', Элогим — *tÿre-toră* 'бог-судья' [24. С. 146]. Названия других языческих богов, по мнению Малова, были образованы от названий атрибутов иудаистского культа: *йĕрĕх* — от *jəraḳ* 'зелень', *хăрпан* — от *qurbān* 'жерт-

ва', *toră*—от *tōr* 'бык', *киремет*—от *kirəmat* 'огороженный участок, виноградник' и т. д. [14. С. 108—109, 134—142, 147—148]. Имя самого бога Яхве в чувашский язык не перешло—очевидно, было табуировано и для предков чуваш.

8. *Atän*—название другого божества чувашской мифологии; *atän toră* 'господь бог'; *atän toră, šyrlax* 'помилуй, господь бог'. В других тюркских языках не имеет соответствий. В этимологический словарь Егорова не вошло. Ашмарин зафиксировал его в форме *atām* и рассматривал как заимствование из перс. *adām* 'человек', что, разумеется, недопустимо по семантическим соображениям [1. С. 119]. Сбоев рассматривал как заимствование из араб.  'господин', хотя и не приводил ар-

гументов. Не оспаривая мнение Сбоева, мы тем не менее считаем более вероятным заимствование из др.-евр.  ('*ādōn*) 'господин, хозяин

раба', откуда произошло и библейское «адонай»: '*ādōn* > *atän* [граф. 29. С. 19; 31. С. 178]. Такая этимология более соответствует тематике лексем, и, кроме того, этого слова нет в языках контактных с чувашами тюрков-мусульман, откуда заимствованы другие арабизмы чувашского языка.

9. *Jërëx*—название другого божества чувашской мифологии, означающее вместе с тем и другие понятия (в этнографической литературе имеется более двадцати толкований этого слова: до христианизации чуваш под ним подразумевали пучок зелени, символизирующий божество, после христианизации—различные атрибуты этого божества, предметы подношения ему, сосуды для складывания подношений и как бранное слово со значением «чертовщина»). В других тюркских языках не имеет близких соответствий, кроме как в диалекте контактных с чувашами татар, где употребляется в тех же значениях. Золотницкий возводил к тюркскому глаголу *ыт-/ыс-/из-/уй-/йар-* 'посылать', не объясняя при этом, как от него образовалось *jërëx* [8. С. 150]. Егоров соотносил к ор.-енис. *ыд-* 'пускать, посылать' и тоже не объяснил образования структуры слова [6. С. 80]. Мухамедова возводила к угорскому «урт» и якут. «ер» 'нечистые души умерших' [17. С. 183]. Акад. Н. Я. Марр считал произошедшим от первоначальных звуков «ер» и «сер», означавших якобы 'небо' и 'земля' [15. С. 341]. Все эти противоречивые этимологии связаны, очевидно, с позднейшими толкованиями реалии этой лексемы. Первоначально *jërëx* означало вполне определенный предмет—пучок зелени. Так определял его акад. Георги, лично засвидетельствовавший данный фетиш в XVIII веке, когда он имелся еще в каждом чувашском доме [3]. Так же толковал значение этого слова и акад. Паллас: «Ерих есть ничто иное, как только пук отборных лоз ракитового куста, которых берут 15 равной величины, около четырех футов длиною, посредине связывают мочалом, и на сей перевязке вешают кусок олова. Каждый дом имеет у себя такого Ериха... Никто не смеет к оному прикоснуться, а как уже осенью весь лист отпадает, то срезавают тоlikое же число свежих лоз на место одного пучка, и старого Ериха с благочинием бросают в текущую воду» [18. С. 139]. Е. А. Малов тоже толковал *jërëx* как пучок зелени и соответственно возводил к еврейскому слову .

(*jārēq*) 'зелень' [14. С. 134—142]. Такую же этимологию еще раньше Малова предлагал В. К. Магницкий [13. С. 81].

Примечательно, что чувашский *jërëx* имел своего реального прототипа в иудаизме. Суеверные евреи тоже фетишизировали зелень: освященную обрядами гакафота пальмовую ветку хранили в качестве святыни в синагоге до следующего сукота [10. С. 46—47; 14. С. 145]. И обычай привешивать к ветке кусок свинца (*kikkar 'ör:arät*) тоже пришел из иудаизма—суеверные евреи употребляли свинцовый кружок в магических целях [30. С. 210]. Так что не только само слово *jërëx*, но и его реалии заимствованы из иудаизма. Чуваша лишь подвергли его гиперболизации и, по обычаю язычников, превратили в своего рода фетиш. Заимствование его произошло, очевидно, давно, ибо после Хазарского каганата и до новейших времен иудаистов в Поволжье уже не было. Следовательно, в течение тысячелетия бесписьменные чуваша устно передавали его из поколения в поколение, и оно, естественно, обрело расплывчатую семантику, а отсюда и противоречивую этимологию.

11. *Atal* 'большой; расти, увеличиваться'; *ača atalat* 'дитя растет'; *atalan* 'увеличиваться, расти, окрепнуть'. В других тюркских языках не имеет соответствий. В этимологический словарь Егорова не вошло. Петров производил от тюрк. *atak/ajak* 'нога' [19. С. 268—270], с чем, однако, нельзя согласиться как по фонетическим, так и по семантическим соображениям. Заимствовано из др.-евр. גָּדַל *gādal* 'большой, великий;

увеличиваться' с закономерным опусканием начального и оглушением второго звонкого согласного: *gādal* > *atal* (ср. тюрк. *gazap* > чув. *asap* 'мучение'; тюрк. *gaep* > чув. *ajāp* 'вина' и пр.). От этого же гебраизма образован и глагол *atalan* 'увеличиваться, расти' путем присоединения аффикса *-lan*: *atal* + *-lan* > *atallan* > *atalan*.

11. *Sār* 'власть, воля'; *sārlä* 'властно'; *sār il* 'заиметь власть'. В других тюркских языках не имеет соответствий. В этимологическом словаре Егорова отождествлено с другим омонимом *sār* 'секрет, тайна' и оши-

бочно возведено к арабскому سِرْ 'секрет, тайна', что недопустимо по семантическим соображениям [6. С. 183]. В действительности восходит к др.-евр. שָׂר (*sar*) = שׁוּר (*sūr*) 'властво-

вать': *sar/sūr* > *sār* [граф. 29. С. 597]. В арабском и персидском с ним

сближается سَر 'голова, главный, вершина', с которым тоже

трудно соотнести ввиду семантической отдаленности.

12. *Xāval* 'счастье, доля, судьба'; *xāval il* 'обрести счастье'; *xāvallä* 'счастливый'; *xāval usälñi* 'открывание счастья' (по суеверным представлениям чувашей, на небе иногда открываются врата и появляется сияние, дарующее счастье, которое тоже называется *xāval* или *xāval usälñi* [5. С. 17]). В других тюркских языках не имеет соответствий. В этимологический словарь Егорова не вошло. Восходит к др.-евр. חָבַל

(*hābāl*) 'счастье, доля, судьба': *hābāl* > *xāval* [граф. 31. С. 212, 1099, 1106]. В чувашском фонетическом оформлении заимствование перешло в марийский язык в форме *kavyl* с неопределенным значением—

нечто «желаемое, удобное, приятное» (в старинных молитвословиях).

Подобные гебраизмы имеются не только среди культовых лексем, но и среди бытовых, социальных и даже земледельческих терминов. Существуют также этнокультурные параллели; например, у языческих чуваш, как и у евреев, год начинался осенью и продолжался тринадцать лунных месяцев в високосном году, а последующие три года—по двенадцать месяцев; вставной тринадцатый месяц «*кёсён кярлач*» соответствовал еврейскому «*ибур хашана*». Предполагать заимствование такого календаря из других источников трудно—его не было ни у финно-угров, ни у славян, ни у других тюркоязычных народов, кроме караимов и крымчаков, тоже перенявших его, наверное, от евреев.

В таком чувашском календаре почти все праздники были приурочены к иудаистским. Например, чувашский Новый год отмечался в те же дни, что и иудаистский. Чувашская пасха праздновалась в ту же неделю, что и еврейская. Еврейскому празднику ханука у чуваш соответствовал сурх-ури, отмечавшийся тоже в дни зимнего солнцестояния. Еврейскому шабуот у чуваш соответствовал уяв, также праздновавшийся на пятидесятый день после пасхи. Только праздники сукота с симхат торой были перенесены на летнее время, так как местные климатические условия не позволяли выполнять их ритуалы поздней осенью. Эти праздники длились в общей сложности девять дней, с прекращением всех работ, и назывались «*синсе*» (Малов производил это название от др.-евр. *sansēn* 'ветка, ветвь пальмы' [14. С. 146], так как чествовалось празднество зелеными ветвями). Еврейскому празднику симхат тора у чуваш соответствовал *торā симёкё*, или *симёк* (от евр. *šāmēh* 'торжествовать, праздновать, веселиться').

Много общего имели также обряды кровавого жертвоприношения у чуваш и евреев. Например, обычаи чувашского жертвоприношения «киремет» полностью дублировали ритуалы общественного жертвоприношения грузинских евреев, которые весьма подробно описаны этнографами [21. С. 346; 24. С. 124—129].

У чуваш, как и у иудаистов, существовали также левиратные браки. В. А. Сбоев сообщает, что у языческих чуваш прежде бытовал «еврейский закон ужичества, но только со следующим ограничением: оставшуюся после смерти большого брата во вдовстве жену брал за себя меньшой брат; но большой брат не мог жениться на вдове меньшого брата» [24. С. 104]. Разумеется, левиратные браки отмечены и у некоторых других народов Востока, но чувашский левират сопровождался именно иудаистскими традициями: в случае отказа деверя от такого брака чувашаи тоже совершали своеобразную «*хальща*», называемую «*сāпата тāпалани*», то есть «сдергивание лаптя».

Чуваши, как и набожные евреи, не вступали в брак с родственниками ближе пятого—седьмого колена родства. Поскольку в чувашских деревнях проживали все свои родственники, то невест брали непременно из других деревень—из семей, не имеющих родства с женихом.

Венчание, как и у евреев, проводилось под венчальным покрывалом, хотя в качестве покрывала использовалась обычная кошма [см. 24. С. 33—34; 21. С. 350—352].

Похоронные обряды тоже поразительно сходны с иудаистскими [см. 20. С. 307—310]. Хоронили чувашаи, как и евреи, не в гробу, а в гробовище. Клади умерших в могилу на спине, лицом вверх, с вытянутыми руками и ногами, ориентируя головой на запад; под голову подкладывали *сāвап тāпри* 'священную землю', доставленную, однако, не из Иерусалима, а из той же местности: обычно это был первый при рытье

могилы комков земли, который подкладывали под голову умершего. Глаза покойника, как и евреи, сверху накрывали, но не черепками, а комочками шелковых ниток. На грудь покойника или рядом с ним клали какой-нибудь металлический предмет, обычно принадлежавший покойному. В ладонь умершего вкладывали щепку или монету, затем надевали на руки рукавицы, так как у чуваш не было тахрихина с наглухо зашитыми концами рукавов (погребали в обычных костюмах). На могилу сверху ставили каменный или деревянный памятник с зарубкой у верхней кромки для «обитания души». Некоторые чуваш, подобно иудеям, ставили на могиле для той же цели миниатюрный домик [9. С. 21; 32. С. 309].

Таким образом, кроме лексических параллелей, отмечается и множество этнокультурных параллелей, происхождение которых также невозможно объяснить «случайным совпадением». Предполагать их заимствование через посредство третьих народов не приходится, потому что у народов, контактировавших с чувашами, таких параллелей не обнаружено. Поэтому вполне правомерно предположение о том, что и лексические и этнокультурные параллели являются результатом каких-то невыявленных пока контактов чуваш с евреями (вероятнее всего, хазарскими), хотя когда и где могли происходить такие контакты — мы не знаем. Судя по тому, что многие гебраизмы стали ныне архаизмами, следует полагать, что они были заимствованы очень давно и поэтому не подверглись влиянию чувашского ротацизма и ламбдаизма.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ашмарин Н. И. Болгары и чуваш // Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Казань, 1902. Т. 18.
2. Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Казань—Чебоксары. 1928—1950. Т. 1—17.
3. Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов... Спб., 1799.
4. Гранде Б. М. Введение в сравнительное изучение семитских языков. М., 1972.
5. Денисов П. В. Религиозные верования чуваш. Чебоксары, 1959.
6. Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964.
7. Еврейско-русский словарь. Спб.: Изд. М-ва народ. просвещения., 1859. Т. 1—2.
8. Золотницкий Н. И. Корневой чувашско-русский словарь... Казань, 1875.
9. Иванов Л. А. Материальная культура чувашского населения Татарской АССР и Куйбышевской области // Науч. арх. ЧувашНИИ. Чебоксары. Отд. III, ед. хр. 183.
10. Иоасаф. «О еврейских праздниках» магистра Иоасафа. Одесса, 1843.
11. Комиссаров Г. И. Чуваш Казанского Заволжья // Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Казань, 1911. Т. 27, вып. 5.
12. Куник А. А. О родстве хагано-болгар с чувашами по славяно-болгарскому именнику // Изв. ал-Бекри и других авторов о славянах и их соседях (приложение к 32 тому «Записок АН» № 2). Спб., 1878.
13. Магницкий В. К. Материалы к объяснению старой чувашской веры. Казань, 1881.
14. Малов Е. А. О влиянии еврейства на чуваш // Изв. по Казан. епархии. Казань, 1882. № 6 и 7.
15. Марр Н. Я. Избранные работы. М.; Л., 1935. Т. 5.
16. Мусцев К. М. Названия дней недели в западнокыпчакских тюркских языках // Сов. тюркология, 1972. № 4.
17. Мухомедова Р. Г. Татары-мишары. М., 1972.
18. Паллас П. С. Путешествия по разным провинциям Российской империи. Спб., 1773.
19. Петров Н. П. Этимологические заметки // Учен. зап. ЧувашНИИ. Чебоксары, 1970. Вып. 46.
20. Плисецкий М. С. Евреи в СССР // Религиозные верования народов СССР, М.; Л., 1931. Т. 2.
21. Плисецкий М. С. Некоторые обычаи, обряды и верования грузинских евреев // Религиозные верования народов СССР. М.; Л., 1931.

22. Риттих А. Ф. Материалы для этнографии России: Казанская губерния. Казань. 1870. Ч. 2.
 23. Самойлович А. Н. Названия дней недели у турецких народов // Яфет. сб. П., 1923. Т. 2.
 24. Сбоев В. А. Исследования об инородцах Казанской губернии: Заметки о чувашах. Казань, 1856.
 25. Федотов М. Р. Об арабских и персидских заимствованиях в чувашском языке // Учен. записки ЧувашНИИ. Чебоксары, 1963. Вып. 26.
 26. Федотов М. Р. О названиях дней у чуваш // Учен. зап. ЧувашНИИ. Чебоксары, 1962. Вып. 21.
 27. Фейз-ханов Х. Три надгробных болгарских надписи // Изв. Импер. археол. о-ва, Спб., 1863. Т. 4.
 28. Фукс А. А. О чувашах и черемисах Казанской губернии. Казань, 1840.
 29. Шапиро Л. Иврит-русский словарь. М., 1963.
 30. Штейнберг О. Н. Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам «Ветхого завета». Вильна, 1878. Т. 1.
 31. Штейнберг О. Н. Полный русско-еврейско-немецкий словарь. Вильна, 1888.
 32. Passek T., Latynine B. Sur la kuestion «Kamennye Baby». Helsinki, 1929.
-

Э. К. ЭРНИТС

К ПРОИСХОЖДЕНИЮ ТЮРКСКОГО ЧИСЛИТЕЛЬНОГО 'ОДИН'

На основе фонетической и вероятной семантической близости, а также с учетом типологического сходства с данными индоевропейских языков Я. А. Чанышев [8. С. 78] счел возможным сопоставить общетюркское числительное *бир* 'один' с др.-тюрк. *берү* 'сюда' и тат. *бирги* 'ближний'. Это позволило ему прийти к выводу о том, что в возникновении данного числительного участвовало слово, указывающее на близкий к говорящему объект. Это вполне правомерно, поскольку выявляется общая для многих языков закономерность: первоначальное значение числительного 'один' связано с началом счета на пальцах, камешках и прочих предметах. Можно привести примеры и из других алтайских языков: эвенк. *умүн* и маньч. *эмуң* 'один' сопоставляются с монг. **etün* 'переднее' и калм. *отпо* 'впереди; к югу' [5. С. 65], ср. также тюрк. **öң* 'перед; восток'.

Результаты исследования Я. А. Чанышевым числительного 'один' аналогичны выводам, изложенным в нашей статье, опубликованной 12 лет тому назад [10]. В ней был рассмотрен генезис этого числительного в финно-угорских и других евразийских языках, в том числе и алтайских. К сожалению, наша работа, по-видимому, из-за погрешностей библиографического описания не была замечена тюркологами. В настоящей статье мы возвращаемся к рассмотрению происхождения тюркского числительного 'один', дополняя наш анализ данными новейшей литературы.

Как известно, Г. И. Рамстедт [5. С. 65] связал тюркское числительное *бир* 'один' с монгольским местоимением *būri* 'всё, все, каждый'. С этой этимологией долгое время были согласны и другие исследователи. По А. Н. Самойловичу [6. С. 146], тюркское числительное *бир* имеет общее происхождение с числительными 'пять' и 'десять' и сопоставляется со словом *bilek* 'нижняя часть руки'. Как он полагает, первобытный тюрк обозначал одной и той же лексемой три единства: «простое (простую единицу), другое единство—подразумевавшее число пальцев одной руки, и, наконец, третье, относившееся к числу пальцев на двух руках». Эта версия была повторена, впрочем, и В. Г. Егоровым [1. С. 160].

С нашей точки зрения, изложенные гипотезы несостоятельны, особенно положение А. Н. Самойловича о трех единствах. Мышление первобытного человека было конкретным, и он не мог создать на основе одного слова такого рода многоуровневое понятие. По данным же языков разных систем, выражение единства или совокупности является вторичным. По всей вероятности, понятие совокупности образовалось в связи с такими сочетаниями, как 'собирать(ся) в одну кучу, место и т. д.' (ср.

тюрк. *birlä* 'вместе' от 'один', а не наоборот). Поэтому нет смысла этимологически выводить из этого число 'один'.

Тюркское числительное 'один' имеет праформы в виде **bir* и **bir* [7. С. 147]. А. М. Щербак [9. С. 132, 139] считал, что у чуваш. *päre* 'один' ауслаутный *-e* не первичен; кроме того, он отмечал, что чувашские слова, бывшие раньше односложными, имеют редуцированные конечные гласные, за исключением *päre*. Можно полагать, что числительное *päre* было двусложным изначально, на что указывают, возможно, тув. *birē* (наряду с *bir*) и караг. *birä*. Отсутствие подобной формы в древнетюркском языке не должно служить веским контраргументом, поскольку следует иметь в виду, что и этот язык отражает праязыковое состояние не полностью.

В первом слове чувашских слов гласный *-e* обычно восходит к *aä*; например, *tüle* 'платить' < **tölä*, *үпке* 'легкие' < **үпкә* и др. [9. С. 155, 164]. Исходя из сказанного, можно допустить, что пратюркское числительное 'один' имело приблизительную форму **birä*. Именно в таком виде в свое время представил ее также В. Банг (цит. по [6. С. 147]).

Учитывая результаты изучения числительных в языках других семей (финно-угорской, индоевропейской), можно предположить, что **birä* 'один' является двухкомпонентным и представляет собой сложение **bi-* и **-rä*.

Во многих языках числительное 'один' восходит к местоимениям, указывающим на близкий от говорящего объект ('этот вот'). В своей статье [10] мы как раз предполагали, что **bi-* в тюркском числительном 'один' можно сопоставить с киргизским указательным словом *береги/береки* 'вот этот', существующим наряду с заднерядным *бу(л)* 'этот' [11. С. 493]. На основе типологического анализа мы пришли к выводу о существовании когда-то указательного местоимения **b-* с передним гласным. Элемент *-ra* мы сопоставили с показателем местно-направительного падежа *-ra/-rä* в древнетюркском.

Эти данные полностью согласуются с предложением Я. А. Чанышева, так как упомянутое киргизское слово входит в одно гнездо с тат. *бирги* 'ближний': оба являются производными *бә:ри* [7. С. 125, 126]. Происхождение последнего окончательно не выяснено, однако еще В. Банг выделил в этом слове прономинальную основу, а К. Броккельман увидел в нем сложение указательного междометия *bä* и аффикса направительного падежа *-ri/-rū* (цит. по [7]). Л. С. Левитская допускает, что элемент *b-* в *berü* генетически близок к *b-* местоимения *bi* [3. С. 111]. А. Н. Кононов не исключает, что изучаемый элемент восходит к имени **be/*bi* 'эта, ближайшая сторона' [2. С. 139]. Как мы полагаем, менее убедительны попытки возведения *бә:ри* к деепричастиям.

Наше предположение о наличии показателя местно-направительного падежа в тюркском числительном 'один' не умаляет ценности версии Я. А. Чанышева, ибо, по А. Н. Кононову [2. С. 160], из двух формантов направительного падежа *-ra* связывается с *a*-вым языком, а *-ri* — с *i*-вым.

Если правильность пратюркской праформы числительного 'один' в виде **birä/*birä* все-таки не подтвердится, то можно найти следующее объяснение.

В результате синхронно- и диахронно-типологического изучения местоимений разных систем языков установлено, с одной стороны, что падежные окончания могут восходить к указательным местоимениям, получившим начало нередко от дейктических частиц, а, с другой стороны, из них развивались так называемые местоименные суффиксы, ис-

пользованные для усиления, выделения и т. д. [4. С. 39, 40, 112, 134 и сл.]. Из алтайских языков очень древний *r*-вый местоименный суффикс встречается в тунгусо-маньчжурских языках, например, эвенк. *э-р* 'этот', *та-р* 'тот' [4. С. 113]. Поэтому представляется вполне возможным, что когда-то в глубокой древности существовало переднегласное указательное местоимение **bi-r/*bä-r* 'этот вот' (ср. также тюркские переднегласные личные местоимения).

Резюмируя результаты по изучению тюркского числительного 'один', можно предположить, что оно состоит из двух компонентов:

1) местоимения, менее вероятно, имени **b-* с гласным переднего ряда;

2) директива или местоименного суффикса **r-*.

Какой из этих реконструированных вариантов возникновения в тюркском праязыке реализовался, пока не известно, однако вполне ясно то, что изначальным значением числительного 'один' было указание на близко находящиеся от говорящего объекты. Этим доказывается также, что в тюркских языках развитие числительного шло путем, типологически сходным с другими евразийскими языками.

ЛИТЕРАТУРА

1. Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964.
2. Кононов А. Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв. Л., 1980.
3. Левитская Л. С. Историческая морфология чувашского языка. М., 1976.
4. Майтинская К. Е. Местоимения в языках разных систем. М., 1969.
5. Рамstedt Г. И. Введение в алтайское языкознание. М., 1957.
6. Самойлович А. Н. Турецкие числительные количественные и обзор попыток их толкования // Языковедные проблемы по числительным. Л., 1927.
7. Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на букву «Б». М., 1978.
8. Чанышев Я. А. К этимологии тюркских числительных первого десятка // Теория и практика этимологических исследований. М., 1985.
9. Щербак А. М. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970.
10. Эрнст Э. К. К происхождению числительного 'один' в разных семьях языков // Сов. финно-угроведение, 1973, № 3.
11. Юнусалиев Б. М. Киргизский язык // Языки народов СССР. М., 1966. Т. 2: Тюркские языки.

С О О Б Щ Е Н И Я

Е. К. МОЛЧАНОВА

ДЕЙКТИЧЕСКИЕ И АНАФОРИЧЕСКИЕ МЕСТОИМЕННЫЕ СУФФИКСЫ В ЯЗЫКАХ СРЕДНЕАЗИАТСКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЮЗА

Длительное соседство таджиков и узбеков, особенно в некоторых районах Средней Азии (Самарканде, Бухаре, Ленинабадской области, Ферганской долине), отражаясь на разных уровнях структуры таджикского и узбекского языков, привело к возникновению своеобразного языкового союза, который характеризуется как «группа различных языков, обнаруживающих, однако, благодаря взаимным языковым калькам ряд общих черт в грамматической структуре (при этом их нельзя объяснить генетическим родством)» [1].

Ярчайшим и наиболее подробно изученным образцом языкового союза, где контактируют языки различной генетической принадлежности, является Балканский языковой союз (сокращенно: БЯС), включающий греческий, болгарский, румынский, албанский и турецкий языки. Не меньший интерес представляет также Центральное-азиатский языковой союз (ЦАЯС) в районе Гиндукуша, Памира, Каракорума, части Гималаев, объединяющий некоторые иранские (пашто, памирские, мунджанский, белуджский, парачи, ормури), индоарийские, нуристанские («кафирские»), бурушаски, часть гималайских и единичные дравидийские языки. Объединение названных языков в БЯС и ЦАЯС производится на основании ряда разноуровневых структурных параллелизмов [2].

В отличие от этих союзов (особенно от Балканского), таджикско-узбекский языковой союз, который иногда называют также среднеазиатским (включая и другие тюркские языки Средней Азии), изучен отрывочно и непоследовательно: в отдельных диалектологических исследованиях обращалось внимание на те или иные схождения, обнаруживающиеся в лексике, фонетике, морфологии, синтаксисе. В числе обобщающих работ, посвященных контактам таджикского и узбекского языков, пока можно назвать только работы В. С. Расторгуевой [3] и А. К. Боровкова [4].

В настоящей статье рассматривается одна из структурных таджикско-узбекских параллелей, имеющая отношение главным образом к лингвистике текста и в то же время затрагивающая синтаксис предложения, семантику (тот ее раздел, который ныне отделяют от теории значения и называют теорией референции [5]) и отчасти лексику, поскольку некоторые из рассматриваемых моделей лексикализованы.

В таджикском языкознании указывалось на дейктическое и анафорическое употребление приименного энклитического местоимения, или местоименного суффикса 3-го л. ед. ч. *-аш* (далее сокращенно: ЭМ *-аш*)

[6]. Имеется в виду его использование для отсылки к участникам акта речи или к речевой ситуации (дейксис) или для ссылки на предшествующее упоминание имени или высказывания, на предшествующий текст (анафора)—примеры см. ниже. Такое употребление наиболее характерно для разговорной речи и в грамматиках таджикского литературного языка не упоминается. Добавим, что в некоторых случаях разграничить дейксис и анафору довольно трудно, ср., например, в русском указательном местоимении *это*.

Узбекский язык (разговорная речь, а отчасти и литературный язык) обнаруживает поразительное сходство с таджикским в дейктическом и анафорическом употреблении местоименного суффикса 3-го л. ед. ч. *-/с/и*—так называемого аффикса принадлежности.

Ниже приводится перечень ситуативно-контекстных типов, в которых это сходство прослеживается со всей очевидностью. Мы не касаемся собственно притяжательного значения и употребления соответствующих местоименных суффиксов. Исключение делается для тех случаев, когда референт местоименного суффикса не назван (и может даже не присутствовать в ситуации общения), но ясен собеседникам. Таковы употребления тадж. *-аш*, узб. *-/с/и* в вокативных (эвфемистических) терминах родства. Например, жена обращается к мужу: тадж. *дадош* 'отец' (букв. 'его/ее отец'), муж к жене: тадж. *очаш* 'мать', бабушка к дедушке: *бобош* 'дед', одна сестра к другой: тадж., бухар. *холеш*, букв. 'его тетя' и т. п. В этих терминах родства ЭМ *-аш* служит ссылкой на старшего ребенка в семье (поскольку обычай не позволял супругам обращаться друг к другу по имени [7]), на внука, племянника и т. п. Ср. обращения узб. *бабаси* 'дед', *отаси* 'отец', *онаси* (и *ойи*) 'мать' и др. [8].

Говорящий может и себя называть подобным термином родства. Например, старший из сыновей обращается к матери: узб. *бирор нарса булса*, *акаси айбдор* 'случись что, виноват буду я', букв. 'его старший брат' [9].

В выражениях типа *нархаш 20 тин* 'цена 20 коп.' (на обложке книги); *давомаш дар саҳифаи 5* 'продолжение на стр. 5' и т. п. (в периодике) тадж. *-аш* служит указанием на объект (книгу, публикацию), не названный, но находящийся непосредственно в поле зрения читателя. Ср. узб. *бахоси 20 тин* 'цена 20 коп.', *охири 5 сах.* 'конец на стр. 5' и др.

При именах с лексическим значением времени тадж. *-аш* служит указанием на неназванный (но подразумеваемый) конкретный временной ориентир, точку отсчета: бухар. *шабаш бет* 'приходите (сегодня) вечером', т. е. вечером (*шаб*) текущего дня. Ср. узб. *кечаси* 'ночью'.

Тадж. *-аш* может быть предназначено для референции к конкретной ситуации, наблюдаемой или хорошо известной участникам речевого акта, например, в реплике: — *Хосияташ бад* '(Это) — плохая примета'. Имеется ряд устойчивых сочетаний с ЭМ *-аш*, применяемых в конкретном случае: *бало ба пасаш* 'шут с ним'; *хок бар сараш* 'пропади оно пропадом' и др. Ср. узб.: — *Хай, ишқилиб, охири бахайр бўлсин*, — *деди Махсум* (П. Турсун) '—Ну вот, одним словом, пусть все хорошо окончится,—сказал Махсум' [10]; в вопросительной реплике: — *хай илоҳи?* '—Каков же выход (из данного положения)?' Сюда же, возможно, относится употребление афф. *-/с/и* в конструкциях наличия (или отсутствия) с *бор*, *йўқ*: — *Зарари йўқ* '—Пустяки...' [11] (т. е. 'вреда от этого нет'.—Е. М.).

В таджикских оборотах типа *эбаш-катӣ* 'к месту' (*эб* 'подходящий',

-*катӣ* — послелог совместности); *вахту соаташ-катӣ* 'ко времени, в свое время'; *дар мавридаш* 'при подходящем случае' и т. п.; *мавридаш ояд* 'если представится случай' ЭМ -*аш* подразумевает обстоятельство, случай, акцию, чья уместность, своевременность обсуждаются. При этом -*аш* может быть анафорическим или катафорическим. В первом случае ему чаще всего предшествует субстантивный антецедент, в последнем за ним следует предикативный постцедент. Например: *ҳар кор вахту соаташ-катӣ* 'всякому делу свое время'. Ср. узб. диал. *ва қ т и-г а//ва қ т и-д а ман борган* 'в свое время я ездил'.

Референтом тадж. -*аш* может быть класс, род объектов, некоторое множество однотипных объектов, иногда — понятие. Наиболее характерны модели типа: прилагательное (в том числе в сравнительной степени) + -*аш*; указательное местоимение *ин* 'этот' + -*аш*; *ин хел* 'такой' + -*аш* — обычно с субстантивным антецедентом. Примеры. *Ягон чиз харидан ме-хоҳед?—Кордаҷи алмос даркор, барои ришгирӣ...—Лекин аз он кордаҳҳои шумо мекофтагӣ нест. Медонам, ки ба шумо, муаллим, эронӣ ё полякиаш даркор* (Баҳорӣ) '—Хотите что-нибудь купить?— (Мне) нужны лезвия для бритвы...—Но тех лезвий, что Вы ищете, нет. Я знаю, что Вам, уважаемый, нужны иранские или польские'. *Инаш, ба фикрам, тӯҳфаи Хосият. Ку, бинам, чӣ бошад* (Солеҳов) 'Вот это, по-моему, подарок Хосият. Посмотрю-ка, что там такое'. В первом образце ЭМ -*аш* — ссылка на лезвия, во втором — на совокупность подарков. Таким образом, ЭМ -*аш* выполняет идентифицирующую функцию, свойственную определенному артиклю, причисляя данный объект (или данную разновидность) к упомянутому ранее (или непосредственно наблюдаемому) классу, роду (или совокупности, множеству) объектов. Повидимому, именно на идентификации зиждется субстантивирующая роль ЭМ -*аш* в подобных моделях.

В узбекском языке обращают на себя внимание местоимения *анабуи* 'вот этот' и *анави* [12] 'вон тот', которые, видимо, можно сопоставить с тадж. *инаш*. Например: *Бу китоб меники, у—Салимники, а нави китоб—акамники* 'Эта книга—моя, та—Салимова, вон та книга—моего старшего брата'.

Обратимся к случаям, где референтом тадж. -*аш* является предшествующий текст, высказывание и, в частности, упоминание данного имени (с которым связано ЭМ -*аш*) в предшествующем тексте.

Чисто анафорическая функция ЭМ -*аш* («переспрос, уточнение») — в модели вопросительного предложения, содержание которого — попытка адресата идентифицировать объект, называемый говорящим: —...*Пас чӣ пухта метавонӣ!—Ордоба, атола, лағмон, шўрбо...—Ордобааш чӣ?* (Эгамов) '—...А какие же блюда ты умеешь готовить?—Ордобу, атолу, лагман, шурпу.—А что такое ордоба?'

Ср. узбек.: —*Замира келипти. —Замира си ким/ди/?—Замира приехала.—А кто такая Замира?*

Здесь можно говорить об использовании тадж. -*аш* и узб. -*/с/и* для передачи текстовой определенности, т. е. о близости к еще одной функции определенного артикля.

Тадж. -*аш* регулярно появляется в неначальных фразах в таком типе контекста, когда говорящий намерен уточнить, поправить, дополнить, пояснить сказанное, предложить альтернативу и т. п. В этом случае первая фраза начинается с прилагательного субъективной оценки (типа *сахеҳ*, *дуруст*, *рост*, *аниқ* 'правильный, точный', *муҳим* 'важный', *ачиб* 'удивительный', *хуб*, *нағз* 'хороший', *мўл* 'обильный') + -*аш* (*ачибаш ин ки...* 'удивительно то, что...'); то же прилагательное в сравнительной сте-

пени + -аш (беҳтараш 'лучше', аниқтараш 'точнее'). ЭМ -аш здесь —ссылка на предтекст. Например: *Ҳа, ду сол аст, ки Наҳанг бо хулқ... ва тарзи зиндагии юрмонҳо ошност. Аниқтараш вайро бо юрмонҳо хўчаин шинос карда буд* (Ҳакимов) 'Да, вот уже два года, как Наханг (шенок) познакомился с повадками сусликов. Точнее (букв. 'точнее его'), хозяин познакомил его'. В подобных образцах ачибаш, росташ и другие преимущественно выступают в качестве вводного слова.

Ср. вводные слова: узб. аниғи 'точнее говоря' (аниғ 'точный'); рости 'по правде говоря' (рост 'правильный'); тўғриси id.; очиги 'откровенно говоря' (очиғ 'открытый'); яхииси 'лучше' (яхиш 'хороший'); ғалати 'странно' (ғалат 'странный'); ажойиби 'интересно' (ажойиб 'интересный'); қизиги id.; муҳими 'важно' (муҳим 'важный'). Добавим сюда же мисэли 'к примеру' [13] и охири 'в конце концов' (охир 'конец'). Примеры: *очиғи, меҳмондан безор бўлдим* 'откровенно говоря, надоели мне гости'; *аниғи, мен бормаيمان* 'точнее, я не пойду'; *яхииси, сиз кетинг* 'лучше вы уйдите'; *рости, сизни сизга танимадим* 'по правде говоря, я Вас совсем не узнала'; *тўғриси, бу ишга пул керак* 'говоря откровенно, для этого дела нужны деньги', *энг қизиги // ажо-йиби, «оламан», — деган совчи йўқ* 'самое интересное, что нет свата, который сказал бы «возьму»; *охир, мени жинни қиласан* 'в конце концов, ты меня с ума сведешь' и т. п. Известная ограниченность узбекского материала и объем статьи не позволяют воспроизвести для приведенных примеров контекст или конситуацию, отсылкой к которым и является аффикс -и.

Прилагательное субъективной оценки может и не быть вводным словом. Например, тадж. ачибаш ин/он ки... 'удивительно то, что...' и др. См.: узб. *энг ёмон и бегона юртда касал бўлиш* 'самое плохое—заболеть в чужом краю'.

Тадж. -аш используется в первой фразе текста, если эта фраза является выводом, умозаключением на основе предшествующего текста или предположением по поводу вышеизложенного. Мы имеем в виду обороты с вводно-модальными словами типа аслаш 'в сущности, по сути дела' (асл 'суть, существо'); (аз) афташ 'очевидно, по-видимому, наверное' (афт 'лицо, внешность, вид'); бухар. ачоқаш 'наверное' (ачоқ < аз чоқ, где чоқ 'предположение'). Примеры: *Дар боло гунчишкон чирик-чирик мекунанд. Аз афташ, дар шохаҳои дўлона нишастаанд* (Муҳаммадиев) 'Вверху (над головой человека) чирикают воробьи. Наверное, они сидят на ветках боярышника'; бухар. *ин кас наомадан имрӯз; ачоқаш, шавҳарашон олдаген* 'Она сегодня не пришла. Наверное, приехал ее муж'.

Ср. вводно-модальные слова с -/с/и в узбекском: чамаси 'вероятно' (чама 'предположение'); мазмуни 'как видно, по-видимому' (мазмун 'содержание, смысл'); диал. чоқи (и чоқе) 'кажется'. Примеры: *мазмуни, ҳеч ким бормаганга ўхшайди* 'как видно, никто не пошел'; шах-рисябз., бухар. *эмәкийиззэ ўғлэ чэқи* 'кажется, это сын вашего дядюшки'.

Наконец, тадж. -аш в майлаш 'ладно, идет'—при испрашивании (говорящим) или изъявлении (адресатом или говорящим) согласия, одобрения, подтверждения. В таком значении имя майл ('желание, склонность') без ЭМ не употребляется. Примеры:— *Модарчон, ба ман ягон афсона нақл кунед!*—*илтимос намуд Лола аз модараш.*—*Майлаш гӯш кун* '—Мамочка, расскажи мне сказку!—просит Лола.—Ладно, слушай'; ...*муаллим... гуфт:—Ҳа, саволҳо ношинос-мӣ? Майлаш, дигар*

билет *гир* (Баҳорӣ) 'Преподаватель сказал...: — Так, не знаешь вопросов? Ладно, бери другой билет'.

Тадж. *-аш* в *майлаш*—ссылка либо на предтекст, либо на посттекст: согласна рассказать сказку, согласен на замену билета.

Ср. узб.: — *Кинога борсам, майли-ми?* — *Майли* '—Я схожу в кино, ладно?—Ладно' [14]; *Не деса десинлар дусту душманлар.* / *Майли, ёнсин дунё, қулсин бу тахт* 'Пусть друзья и враги говорят то, что придет им в голову./Пусть сгорит этот мир, рухнет этот трон'.

Референтная отнесенность ЭМ *-аш* в тадж. *майлаш* не очевидна. Ср. иную отнесенность (к собеседнику, собеседникам), т. е. собственно притяжательное значение у ЭМ 2-го л. *-ат* (ед. ч.), *-атон* (мн. ч.) в сочетаниях *майлат*, *майлатон* 'ладно', букв. 'воля твоя, Ваша/ваша'. Эти сочетания встречаются в разговорной речи при изъявлении согласия в ответных репликах. Например:—*Мебахий, чиян. Ман аз ту як чизро пурсиданӣ.*—*Майлатон, амак, пурсидан ғиред* (Одинаев)—'Извини, племянник, я хотел у тебя спросить одну вещь.—Пожалуйста, дядя, спрашивайте'. Встречается также форма *майлашон* (ЭМ *-ашон* 3-го л. мн. ч.) 'пусть их', букв. 'воля их'.

Ср. в узбекском языке: с одной стороны, *майли* (с афф. 3-го л. *-и*) 'ладно, хорошо'—при ссылке на пред- (или пост-)текст; с другой стороны, *майлинг* (с афф. принадлежности 2-го лица ед. ч.) 'как хочешь, воля твоя', *майлингиз* (с афф. принадл. 2-го л. мн. ч.) 'как хотите, воля ваша/Ваша'. Аналогично в узб. *чама-си* и *чама-м-да* 'вероятно' / *чама* 'предположение', *-м*—афф. принадл. 1-го л. ед. ч., *-да*—афф. местного пад. Ср.: *Чамаси, биз ютсак керак* 'Вероятно, мы победим' и *Чамамда, биз ютсак керак* 'Вероятно (я полагаю), мы победим'.

В свете изложенного целесообразнее говорить о лексикализации, а не об идиоматизации тадж. *майлаш*, узб. *майли*.

Итак, тадж. *-аш* и узб. *-с/и* обнаруживают сходные референтные потенции: способность соотноситься не только с названным ранее лицом (или предметом), но и с не названным (и даже не находящимся в поле зрения), но известным участникам речевого акта, с конкретной ситуацией или конкретным контекстом и с некоторыми другими денотатами. Следы подобного употребления засвидетельствованы в истории как таджикского, так и узбекского языков [15].

Можно предполагать аналогичные употребления и в других языках Среднеазиатского языкового союза. Например, турк. *нахили* 'какой? какого рода?' Ср. тадж. *инхелаш* 'такой'.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Цит. по: Цыхун Г. А. Языковые союзы: проблемы современной теории // Типы языковых общностей и методы их изучения: Тез. М., 1984. С. 160—162.

² См.: Эдельман Д. И. К субстратному наследию Центральноазиатского языкового союза // Вопр. языкознания. 1980, № 5. С. 22.

³ Расторгуева В. С. Об устойчивости морфологической системы языка (по материалам северных таджикских говоров) // Тез. докл. науч. сотрудников Ин-та языкознания на объединенной сессии Ин-та этнографии, ИИМК, Ин-та истории и Ин-та языкознания. М., 1951. С. 33; она же. Опыт сравнительного изучения таджикских говоров. М., 1964.

⁴ Боровков А. К. Таджикско-узбекское двуязычие // Учен. зап. Ин-та востоковедения: Лингв. сб. М., 1952. Т. IV. С. 165—200.

⁵ Референцией называют соотношение высказывания и его частей с действительностью, с индивидуальными, единичными предметами и ситуациями, а референтом— тот объект действительности или ситуацию, с которыми высказывание соотносится.

⁶ Расторгуева В. С. Очерки по таджикской диалектологии, М., 1963. Вып. 5. С. 30;

Мурватов Ч. Чонишин//В кн.: Шеваи чанубии забони тоҷики: Морфология. Душанбе, 1979. Ч. 2. С. 63; Керимова А. А., Молчанова Е. К. К референции энклитического местоимения -иш в таджикской разговорной речи//В кн.: Иранское языкознание: Ежегодник, 1982. М., 1987; Молчанова Е. К. Анафора и притяжательность//Вопр. языкознания. 1987, № 1.

⁷ См.: Зайниддинова З. Терминҳои «падар» ва «модар» дар шеваҳои Ленинободу Кони Бодом//В кн.: Масъалаҳои шевашиносии тоҷик. Душанбе, 1970. Ч. 1. С. 195; Розенфельд А. З. К терминологии родства и свойства в таджикских говорах//В кн.: Иранское языкознание (к 75-летию проф. В. И. Абаева). М., 1976. С. 209—217.

⁸ См.: Покровская Л. А. Термины родства в тюркских языках//В кн.: Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961. С. 24—25, 79, сл.; Цинциус В. И. Алтайские термины родства и проблема их этимологии//В кн.: Проблема общности алтайских языков. Л., 1971. С. 130—131.

⁹ Этот и другие узбекские примеры нам сообщил к. ф. н. А. Б. Джураев.

¹⁰ Цит. по: Ўзбек тилининг изоҳли лугати/Под ред. З. М. Маъруфова. М., 1981. Т. 1—II. С. 551.

¹¹ Цит. по кн.: Қононов А. Н. Грамматика узбекского языка. Ташкент, 1948. С. 270; см. также: с. 230, § 443.

¹² См.: *анави*—из *ана+у>анов+и* афф. принадл. 3 л. ед. ч.: Қононов А. Н. Грамматика... С. 127, сл.

¹³ См.: Джураев Б. Шахриябзский говор узбекского языка. Ташкент, 1964. С. 130.

¹⁴ Цит. по: Ўзбек тилининг изоҳли лугати. С. 442.

¹⁵ См.: «Бабур-наме»: тоң-ла-си-да 'на рассвете' (одного из ближайших дней). Сообщено д. ф. н. Г. Ф. Благовой.

Ш. САРЫБАЕВ, А. СУЛЕЙМЕНОВА

ОБ ИЗУЧЕНИИ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА ЗА РУБЕЖОМ

(ИССЛЕДОВАНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Еще в XIII—XIV веках западноевропейские путешественники и купцы проявляли немалый интерес к племенам и народностям, населявшим территорию нынешнего Казахстана. Естественно, этот интерес к населению и его языку в ту пору не мог носить и не носил не только научного, но даже специального характера. Отрывочные и случайные сведения о языке заносились в основном в дневники и отчеты путешественников, интересовавшихся главным образом обычаями, хозяйственным укладом, верованиями и т. д. местного населения [1]. Записывались прежде всего названия предметов, явлений природы, различных событий, этнографических реалий и т. д. И эти записи служили основным материалом для изучения языка.

К этому времени относится появление таких знаменитых средневековых трудов, как «Codex Cumanicus» и «Диван» Махмуда Кашгари. Много позже был создан словарь Г. Ю. Клапрота «Asia Polyglota» (включающий раздел «киргизский язык»).

Н. Чадвик и В. Жирмунский отмечали, что «до революции казахи, ранее ошибочно называемые „киргизами” или „киргиз-кайсаками”, были известны русским путешественникам лучше, чем другие тюркские народы. Еще в XVIII веке (то есть задолго до завоевания Центральной Азии) казахи имели экономические, политические и культурные связи с Россией» [2].

После присоединения Казахстана к России изучение его русскими учеными значительно активизировалось. Позже были созданы исследования по казахскому языку В. В. Радлова, Н. И. Ильминского, П. М. Мелиоранского, И. П. Лаптева, А. Левшина и др. Эти работы получили европейскую известность и широко использовались последующими поколениями лингвистов.

В XIX веке Британская империя стала проявлять повышенный интерес к Китаю. Английские ученые, приступившие к изучению китайских письменных памятников, находили в них немало сведений о соседних с Китаем народностях. Эти данные использовались в научных работах, таких, например, как «Тысячелетие татар» Е. Паркера [3]. Даже в ранних англоязычных энциклопедиях давались ссылки на китайские источники IX—XIV веков [4, с. 829].

В самом Казахстане к XIX веку уже сформировалась прогрессивная национальная интеллигенция, проявлявшая заботу о сохранности культурного наследия казахского народа. Видным ее представителем был Чокан Валиханов, труды которого получили широкую известность

у востоковедов России и зарубежных ученых. Работы Ч. Валиханова переводились и на английский язык. Так, востоковеды—братья Мичели, перевели его книгу «Русские в Центральной Азии» [5].

В 1877 году лингвист Р. Шоу в грамматическом очерке языка «Восточного Туркестана», напечатанном в журнале Бенгальского азиатского общества, характеризует Ч. Валиханова как выдающегося филолога [6, с. 16].

В начале XX века (примерно после 1903 г.) царское самодержавие содействовало проникновению иностранного капитала в промышленность национальных окраин Российской империи, в том числе и Казахстана. Одна за другой возникали иностранные концессии. В результате в горно-заводской промышленности дореволюционного Казахстана, например, удельный вес иностранного капитала был выше, чем по всей России в целом [7, с. 9]. Причем доминирующее положение занимал британский капитал. Азиатская часть России, и в частности Казахстан, интересовали английских империалистов не только как районы прибыльного размещения капитала, но и по политическим и стратегическим соображениям, ввиду близости этого региона к Индии и Китаю, зависимым в то время от Англии, Ирану, Афганистану и другим странам. Все это способствовало обследованию Казахстана, изучению не только его природных ресурсов, но также его истории, культуры, литературы, языка и т. д. К числу работ, посвященных последним проблемам, относится труд Е. Скайлер «Туркестан. Описание путешествия в Русский Туркестан, Коканд, Бухару и Кульджу» [8, с. 30]. В нем автор впервые привела правильный этноним «казахи», объяснив при этом, почему казахов ранее называли «киргизами», «кайсаками» и т. д. В этом труде дана сравнительная фонетическая характеристика казахского языка в сопоставлении с татарским, приводится его лексическое описание, выделяются исконно казахские слова: *қалың, мал, бәйге, түндік* и т. д.

Английский ученый М. Чаплик в книге «Тюрки Центральной Азии. Их история и настоящее» [9] в главе «Языки» приводит классификацию тюркских языков по И. Н. Березину и М. А. Казем-беку, ошибочно называя казахов «кайсаками» и относя их к туранским, то есть восточным тюркам. В приложенной к книге обширной библиографии автор указывает труды В. В. Радлова, А. И. Левшина, В. В. Вельяминова-Зернова, А. Алекторова, Б. Даулбаева, Х. Кустанаева и других ученых.

В американских, английских и японских англоязычных изданиях американской энциклопедии сведения о казахах и их языке начали появляться еще в конце прошлого и начале нынешнего века. Однако включались они в статьи под названием «Киргиз». В этих энциклопедиях отмечалось, что «киргизы»—это татаро-монгольский кочевой народ (под татарами подразумевались тюрки), численностью примерно в 3 млн. человек, делящийся на две основные ветви (группы): «каракиргизов», населяющих горную часть страны, и «степных киргизов»—«казахов» [10].

Наиболее обстоятельная статья о казахах под названием «киргизы» помещена в Британской энциклопедии. В ней говорится: «Похуже, что они (киргизы. — Ш. С. и А. С.) имеют близкое родство с монголами, а речь их схожа с татарской» [4, с. 827]. И далее: «...их речь также, будучи тюркской по структуре, имеет не только много монгольских и несколько персидских и арабских слов, но также несколько терминов, неизвестных другим ветвям монголо-татарской лингвистической семьи» [4, с. 828]. Статья завершается двумя разделами: «Киргизы» и «Казахи». Раздел «Казахи» начинается со слов: «Хотя им и известен термин „киргиз“, но он никогда не употребляется степными кочевниками, которые называ-

ют себя просто „казахами”». И далее: «Казахи скорее монгольского, чем татарского происхождения, но достаточно того факта, что существует всеобщее преобладание почти чистой (без примеси) разновидности тюркской речи по всей казахской степи, позволяющее сделать заключение о постоянном влиянии элементов татарской речи на казахский язык» [4, с. 828].

После Великой Октябрьской социалистической революции и до начала второй мировой войны сведения о казахах и их языке стали все чаще появляться в энциклопедиях и других изданиях, хотя и отличались лаконичностью и недостаточной точностью [11], а во многих случаях и противоречивостью. Нередко казахов «по старой памяти» продолжали еще именовать «киргизами», «киргиз-казаками», «кайсаками» [12, с. 144], «кассаками» (cossak) [13] и т. д. Лишь в 1962 году появилась статья американского ученого Лоуренса Крадера «Этноним „казах”», которая внесла ясность в употребление этого термина в западной научной литературе [14, с. 128].

Следует отметить, что до 40-х годов большинство зарубежных исследований по тюркологии, и в частности по казахскому языку, принадлежало западноевропейским ученым. В США научная работа в области алтаистики началась в годы второй мировой войны и была подчинена в основном военным целям.

После войны расширение исследования урало-алтайских проблем привело к организации зональных программ по урало-алтайским языковым группам в Йельском, Гарвардском, Колумбийском университетах, а также в университетах штатов Индиана и Вашингтон. Эти программы не были еще самостоятельными и входили в более широкие программы, имевшие, как и прежде, военно-стратегическую направленность. Однако вскоре эти исследования получили независимый статус в связи с организацией в 1953 году отделения урало-алтайских языков в Колумбийском университете и в 1956 году — ученой комиссии по урало-алтайским исследованиям в университете штата Индиана.

Решение о необходимости изучения тюркских языков в рамках министерства обороны США в 1958 году [16] дало возможность лингвистам создать в 1959 году центр по исследованию урало-алтайских языков и территорий в Колумбийском университете. В 1962 году подобный центр был организован и в университете штата Индиана.

Изучение монгольских и тюркских языков стало частью программы русского и дальневосточного центра Вашингтонского университета в Сиэтле. Исследование тюркских языков было включено в программу и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В мае 1956 года была организована конференция ученых-алтаистов, привлеченных американскими научными организациями. Результатом ее явилась разработка под руководством профессора Джона Лотца национальной программы урало-алтайских исследований [15] с двумя разделами: **А**—языки, предназначенные для изучения, и **В**—материалы, которые следовало охватить. По первому разделу включенные в программу языки были разбиты на три категории: 1) официальные языки независимых стран; 2) языки важного культурного и политического значения; 3) языки менее важного культурного и политического значения.

По мнению американских ученых, «казахи—самый многочисленный кочевой народ в Центральной Азии» [17, с. 17], «в целом занимают второе место в мире по численности тюркского населения» [18, с. 189]. Казахский язык был включен во вторую группу программы урало-алтайских исследований, охватывающую «...языки важного культурного и политического значения» [19, с. 9]. По казахскому языку были запланиро-

ваны две большие работы: 1) учебник казахского языка, который намеревался составить О. Прицак [16, с. 17] (в печати о появлении этой работы пока не сообщалось) и 2) «Казахско-русский словарь» Б. Шнитникова, изданный в 1966 году [18].

Автор предисловия к словарю профессор Н. Поппе писал: «Настоящий словарь является наиболее полным (около 16000 словарных статей) из всех, когда-либо издававшихся, и первым, выпущенным за пределами СССР. Он гораздо объемнее казахско-русского словаря Х. Махмудова и Г. Мусабаева (Алма-Ата, 1954)» [18, с. 1].

Здесь справедливости ради следует отметить, что упомянутый словарь Х. Махмудова и Г. Мусабаева лег в основу словаря Б. Н. Шнитникова, взявшего из него почти весь словарный материал, а разделы на буквы В, Ф, Ц, Ч, Э, Я включены без всяких изменений. Иллюстративный материал словарных статей также взят из «Казахско-русского словаря» с некоторыми сокращениями, но почти без изменений.

Перевод реестровых слов особенно наглядно свидетельствует о сходстве этих словарей. К примеру, в словаре Х. Махмудова и Г. Мусабаева приведено много названий, связанных с флорой и фауной Казахстана, но не ко всем из них даны точные русские эквиваленты. Эти неточности дословно переведены Б. Н. Шнитниковым на английский язык.

Сразу же после выхода словаря Б. Н. Шнитникова К. Менгес опубликовал на него две рецензии, в которых указал основные его недостатки, отметив слабое знание американскими издателями как самого казахского языка, так и исторической и сравнительной грамматики, и лексикографии тюркских языков [20, с. 138].

Следует сказать, что, давая оценку трем основным классификациям тюркских языков, помещенным в «*Philologiae Turcicae Fundamenta*» [21, с. 436], Н. А. Баскаков отметил, что в них киргизский язык неправомерно объединен с казахским, ногойским и каракалпакским языками в одну подгруппу [22, с. 211]. К. Менгес в своей статье продолжает именовать самостоятельный каракалпакский язык диалектом казахского [23, с. 100]. Такого же мнения придерживаются и некоторые другие западные ученые [24, с. 617]. Нельзя также не указать на ошибочность их мнения о том, что в основу казахского литературного языка лег северо-западный диалект [25, с. 46].

К. Хусаинов и К. Таужанова [26, с. 162], ознакомившись с некоторыми работами зарубежных тюркологов, пришли к заключению, что казахский язык исследуется ими в основном в двух аспектах — общеалтайском и тюркологическом — либо с целью сопоставительного изучения с другими языками, либо же с целью выяснения специфических особенностей казахского языка. Как и прежде, источником фактического материала для них служит «Опыт словаря тюркских наречий» В. В. Радлова.

В настоящее время западные ученые заново пересматривают имеющийся в их распоряжении материал и все чаще и настойчивее интересуются исследованиями советских тюркологов.

Большую работу в этом направлении проводит американский ученый И. Д. Лауде-Циртаутас. Обладая практическим знанием ряда тюркских языков, она поддерживает тесные контакты с советскими учеными. В результате ею опубликовано около десятка статей, две из которых написаны на казахском языке. Автор приводит много интересных наблюдений и сравнений. Ее работы отличаются конкретностью и достоверностью [27].

Языковеды Казахстана часто выступают на международных конгрессах, печатаются в зарубежных изданиях, их работы рецензируют,

указывают в библиографических изданиях. Исследования и выводы, сделанные казахскими учеными, часто служат опорным материалом в работах ведущих тюркологов Запада по казахскому языку.

ЛИТЕРАТУРА

1. Например: а) *H. Jule and H. Cordier. The Book of Ser. Marco Polo*, 2 vols, London; б) «Texts and Versions of John de Plano Carpini and William de Rubruques», London, 1903; в) *L. V. Clark. The Turkic and Mongol words in William Rubruk's Journey*. — *Journal of the American Oriental Society*, Baltimore, 1973, № 2, vol. 93, стр. 181—189; г) *Anthony Jenkinson. Early Voyages and Travels to Russia and Persia*. London, 1886 и др.
2. *Nora Chadwick and Victor Zhirmunsky. Oral Epics of Central Asia*. London, Cambridge University Press, 1958.
3. *E. H. Parker. A Thousand Years of Tartars*. Book V, p. 1. Preface; Book V, Chapter IV, стр. 253, 256, 257.
4. «The Encyclopedia Britannica», 1910, vol. 15, стр. 827—829; можно также назвать а) «Nelson's Perpetual Loose-leaf Encyclopedia», London, 1922; б) «The Hawthorth Encyclopedia», London.
5. «The Russians in Central Asia by Ch. Valikhanov, M. Venyaminov and other Russian Travellers», London, 1855.
6. «Journal of the Asiatic Society of Bengal», Calcutta, XLVII (1877), стр. 16.
7. *Ц. Фридман. Иностраный капитал в дореволюционном Казахстане*. Алма-Ата, 1960, стр. 9.
8. *Eugene Schuyler. Turkistan. Notes of a Journey in Russian Turkistan, Khokand, Bukhara and Kulja*. London, 1876, vol. 1, стр. 30.
9. *M. A. Chaplicka. The Turks of Central Asia in History and Present Day*. Oxford, 1918.
10. «Everybody's Cyclopedia», New York, 1912. Страницы не пронумерованы, см. статью «Kirghiz»; «Nelson's Encyclopedia», Tokyo, Osaka and Kyoto, vol. 14, стр. 94; «Appleton's New Practical Encyclopedia», New York, 1910, vol. 3, страницы не пронумерованы, см. статью «Kirghiz»; «The New Amerikanized Encyclopedia», Vol. 6, стр. 3727. New York — Chicago, 1907—1908.
11. Groller Encyclopedia, New York, 1957; «The Standard American Encyclopedia», Chicago, 1937; «The New American Encyclopedia», Boston, New York, 1941, стр. 808; старые до 50-х годов издания «The Columbia Encyclopedia»; «The American Educator», Chicago, 1927; «The American College Dictionary», New York, 1960, стр. 667.
12. «Everyman's Encyclopedia», London, 1932, vol. 8, стр. 144.
13. «The Standard American Encyclopedia», Chicago, 1937. Страницы не пронумерованы, см. статью «Kirghiz».
14. *Lawrence Krader. Etnonymy of Kazakh*. — «An Article from American Studies in Altaic Linguistics», Edited by N. Poppe, Bloomington, 1962, стр. 123—128.
15. *John Lotz. The Uralic and Altaic Program of the American Council of Learned Societies (1959—1965)*. Bloomington, 1966.
16. «The National Defence Education Act», 1958.
17. *Lawrence Krader. Social Organization of Mongol-Turkic Pastoral Nomads*. The Hague, 1963, стр. 189.
18. *Boris Shnitnikov. Kazakh-English Dictionary*, London, The Hague, Paris, 1966, стр. 1.
19. «Completion of the ACLS Program in Uralic and Altaic». — ACLS Newsletter, New York, 1963. Dec. 14, стр. 9.
20. *K. H. Menges. Neue Kasachisch-english Worterbuch*, — «Ural-Altaische Jahrbucher», 1969, Bd. 39, Hst. 1—2, стр. 138; *его же. Epilogue to the Kazakh-English Dictionary by B. N. Shnitnikov*. — «Central Asiatic Journal», 1966, vol. 11, стр. 231—232.
21. «Philologiae Turcicae Fundamenta», Wiesbaden, 1959, t. 1, стр. 1—10.
22. *Н. А. Баскаков. Введение в изучение тюркских языков*. М., 1969, стр. 221.
23. *K. H. Menges. Qaraqalpaq Grammar. Part I; Phonology*. New York, 1947, стр. 100.
24. «Encyclopedia Britannica», 1965, vol. 22, раздел «Turkic Languages», стр. 617; см. также *Lawrence Krader. Peoples of Central Asia*. Indiana University Publications, Uralic and Altaic Ser., vol. 26, 1963, стр. 37.
25. *N. Poppe. Introduction to Altaic Linguistics*. Wiesbaden, 1965, стр. 46.
26. *К. Ш. Хусаинов и К. Таужанова. Из истории изучения казахского языка за рубежом*. — В кн.: «Развитие казахского советского языкознания», Алма-Ата, 1980, стр. 153—162.

27. I. D. Lauda-Cirtautas. Blessings and Curses in Kazakh and Kirghiz. — «Central Asiatic Journal», 1974, vol. 18, стр. 9—22; *её же*. Terms of Endearment in the Speech of Kazakh Elders. — «Central Asiatic Journal», 1979, vol. 23, № 1—2, стр. 84—85; *её же*. Preliminary Notes on Taboo and Euphemisms in Kazakh, Kirghiz and Uzbek. — «Altaica Collecta», 1976, стр. 173—190; *её же*. The Past Tense in Kazakh and Uzbek as a Means of Emphasizing Present and Future Actions. — «Central Asiatic Journal», vol. 18, стр. 149—158; *её же*. On Some Lexical and Morphological Particularities of Literary Kazakh, Kirghiz and Uzbek. — «Central Asiatic Journal», 1975, vol. 19, № 4, стр. 287—306; *её же*. Ismet Kenesbayev. — «Central Asiatic Journal», 1977, vol. 21, № 1, стр. 1—3; *её же*. Қазақ тіліндегі еркелету және іззет мағынасын білдіретін сөздер. — «Известия АН КазССР. Серия общественных наук», 1972, № 4, стр. 75—80; *её же*. Қазақ тіліндегі ау, ай одағайлары. — «Известия АН КазССР. Серия филологическая», 1974, № 3, стр. 44—47.

Ш. Х. ХАЛИЛОВ

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И НОРМАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ ПАДЕЖА В СРЕДНЕВЕКОВОМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

При изучении средневековых памятников азербайджанской письменности обнаруживается ряд интересных закономерностей падежной системы, восходящих к наиболее раннему периоду развития тюркских языков. Одновременно со стабилизацией и нормализацией падежей в семантическом аспекте наблюдается незавершенность процесса дифференциации и уточнения средств выражения падежей и выявляется ряд особенностей глагольного управления, приводящих к взаимозаменяемости падежей в семантическом плане. Характерна слабая связь послелогов и падежей, зафиксированы также чуждые формы, не соответствующие внутренним законам азербайджанского языка, и т. д. Все эти черты проявлялись лишь иногда, причем как реликты более ранних этапов исторического развития морфологических категорий.

Именительный падеж. Номинатив, имеющий нулевой показатель, выражает обобщенность содержания и неопределенность. Данный падеж, являющийся исходным для других падежей в функциональном отношении, соответствует именительному в современном азербайджанском литературном языке, напр.: *Zülejxa šivān ejlādi...* (CJ3, XIV); *G'ülšah... zari gyldy* (JBK, XIV); *Ol kiši bu javrujy diši ilā aldy* (3Jh, XIV); *Gördi Mäžnun Lejlili iragdān* (hJM, XV); *Fatimā... mübarāk gözi/ni/jumdy* (ШН, XVI).

Родительный падеж считается одним из самых древних в падежной системе тюркских языков [15. С. 161; 7. С. 41]. Как показывают факты, еще в орхоно-енисейских памятниках—письменных источниках, отражающих особенности наиболее ранних этапов истории тюркских языков, родительный падеж не только существовал в качестве грамматической категории, но и довольно четко выделялся среди других падежей как по форме, так и по значению [16. С. 113].

Язык средневековых памятников азербайджанской литературы, в отличие от современного азербайджанского литературного языка, характеризуется употреблением суффикса родительного падежа с «сагыр пиң» и преобладанием губного варианта суффиксов. При этом если употребление суффикса пиң может быть объяснено как остаточное явление, восходящее к пратюркскому состоянию, то преобладание огубленного варианта показателя родительного падежа больше всего связано с диалектной основой литературного языка XIII—XVI вв., а не с трудностями арабского алфавита, как это предполагают отдельные исследователи. Известно, что в рассматриваемую эпоху койне азербайджанско-

го литературного языка составляли ширванский и тебризский диалекты, в которых и поныне преобладают губные варианты суффиксов.

Употребление суффиксов родительного падежа с «сагыр пуң» в настоящее время отмечается как особенность кыпчакской и карлукской групп тюркских языков, сохранилась она и в туркменском языке [13, С. 46], а также в некоторых диалектах турецкого языка [9, С. 243—244]. Что касается азербайджанского языка, то в нем *сагыр нун* (η) употреблялся вплоть до начала XX века [27, С. 112—113], но впоследствии полностью утратился в литературном языке, сохраняясь лишь в некоторых диалектах азербайджанского языка [1, С. 30, 75].

В литературно-художественных памятниках азербайджанского языка зафиксированы случаи, когда в словах, оканчивающихся на согласные, вместо ожидаемого варианта *-uң, -üң* употребляется форма суффикса родительного падежа *-puң, -püң*: *Tifilnün* (КТ, XV); *Fäläknün* (X, XV); *Köksümnün*..., *Gözlärümnün* (ШН, XVI).

Данная особенность исторически была присуща древнеуйгурскому языку и встречается в текстах Восточного Туркестана; позднее же она обнаруживается в памятниках джагатайской и староузбекской литературы [30, 31]. Для кыпчакских и карлукских языков форма с начальным согласным и по сей день считается нормой [13, С. 46]. В памятниках азербайджанского литературного языка XIII—XIV столетий она полностью отсутствует, а в произведениях XV—XVI вв. встречается в виде единичных случаев. По нашему мнению, последнее обстоятельство, т. е. употребление полных форм родительного (*-puң*), винительного (*-пу*) и дательного (*-га, қә*) падежей после основ, оканчивающихся на согласные (напр., *özüm + ni, özüm + gä* и т. д.), в памятниках азербайджанской литературы XV—XVI вв. связано со стилями и традициями самого письменного языка. Полные формы получили распространение на более поздних этапах развития азербайджанского языка—после появления письменности и, минуя живое просторечие, посредством литературных традиций и стилей в результате сближения и взаимного влияния литературы проникли в язык памятников письменности.

Поэты и писатели XIII—XIV столетий, создавшие свои произведения на азербайджанском языке (Мустафа Зерир Эрзурумский, Сули Фагих, Юсиф Маддах, Гази Бурханеддин, позднее Имадеддин Насими и др.), опираясь на опыт письменности предшествующих эпох, творили как законные преемники того, что было создано тюркоязычными народами. Не случайно развитие литературного языка происходило не столько в направлении усвоения богатых письменных традиций арабо-персидской литературы, сколько на основе усвоения опыта письменности тюркоязычных народов, накопленного до XIII—XIV вв.

Кыпчакские и карлукские особенности оказались не в состоянии просочиться в живую народную речь, проникая, однако, в язык памятников письменности. Закономерным является то обстоятельство, что никто из перечисленных поэтов не отдавал предпочтения указанным формам и основу их произведений составляли все-таки огузские элементы, формы, употреблявшиеся в огузо-сельджукских памятниках. Это вполне естественно, так как памятники письменности XIII—XIV вв. в основном появлялись в Диярбекре, Эрзуруме, Сивасе, Эрзинджане, т. е. на землях, сопредельных с Восточной Анатолией,—землях огузов, издавна заселенных азербайджанцами. Большинство поэтов, живших и творивших на этой территории, были выходцами из широких народных масс и в своем творчестве руководствовались мировоззрением, отражавшим мышление тех социальных групп, представителями которых они

являлись. Они постепенно отказывались от чуждых им языковых средств; родственные же им средства использовались и закреплялись в письменном языке.

В XIII—XIV вв. указанная выше территория являлась колыбелью азербайджанского литературного языка. Азербайджанская литература и поэзия, возникшие на этой территории, оказали сильнейшее влияние на поэзию и искусство Восточной Анатолии. Проф. А. Демирчизаде писал, что азербайджанский литературный язык был языком поэтов, творивших в Восточной Анатолии на рубеже XIII—XIV вв. [11. С. 88]. В огузо-сельджукских памятниках этой эпохи (стихи Султана Веледа, поэма Шейяда Гамзы «Юсиф и Зулейха», «Чарх-наме» Ахмада Фагиha и др.) 70—80% лексических единиц, морфологических признаков и синтаксических моделей являются исконно азербайджанскими. Однако в результате непрерывных монгольских набегов Теймуридов на Азербайджан и мощного кыпчакского наплыва упомянутые кыпчакские формы, сохраняемые лишь эпизодически, в XV—XVI вв. получают мощный стимул для более широкого распространения. Известно также, что во второй половине XV в. город Герат затмил все самые значительные культурные центры Ближнего и Среднего Востока. Гератская литературная школа, возглавляемая Гусейном Байгара и Алишером Навои, стала очагом культуры и образования, неким образцом для всех. Многие азербайджанские поэты XV в. (Басири, Кишвери, Зийаи, Хульги, Аллахи, позднее—близкий ко двору шаха Исмаила Шахгулу-бек, Сусени-бек, Пери Пейкар и др.) являлись воспитанниками именно этой школы. Вернувшись на родину, они не смогли освободиться от влияния Байгара и особенно Навои. В своем творчестве они широко использовали формы, характерные для джагатайской и староузбекской литературы. Таким образом, помимо ряда внутриязыковых и экстралингвистических факторов, существенную роль в широком распространении в литературе XV в. джагатайских и староузбекских особенностей сыграло именно это обстоятельство.

В конце XVI и в середине XVII вв., в эпоху стабилизации [26. С. 55], азербайджанский язык в процессе создания литературной нормы опирался на внутренние ресурсы—общенародный разговорный язык и формы, существовавшие в письменном языке и не проникшие в живое просторечие, так же как и заимствованные факты, остались за пределами процесса формирования литературного языка. Только те из них приобрели статус нормы, которые появились вместе с азербайджанским языком и служили целям коммуникации, будучи усвоенными языком широких народных масс. Формы же, не соответствовавшие законам азербайджанского языка, употреблялись в ограниченном кругу, в языке отдельных писателей (например, Мухаммеда Аmani, Месихи и др.).

Одной из интересных особенностей языка средневековых памятников азербайджанской письменности является отсутствие суффикса родительного падежа после суффикса принадлежности, напр.: *Gözüm jaşy* (ЗЖН, XIV); ... *Gözüm nuri...* (CJЗ, XIV); *Jüräğim gany...* (ЖБК, XIV); *Zanum paräsi...* (ҺГ, XVI); *Ayladuyunuz säsäbi nädür?* (ШН, XVI).

Аналогичные факты наблюдаются и в устном народном творчестве, напр.: *Jasty şikajät ejlär, Gözüm jaşy äлиндän* (СА, XVII); *Biläzigin üstündä, Arzy Gämbär pişany* (АГ). Это объясняется прежде всего тем, что в ранние периоды не было еще полной дифференциации категорий родительного падежа и принадлежности, выражающих родственные понятия. Не случайно это явление в большей мере присуще древним этапам развития тюркских языков [30. С. 87]. В азербайджанских же

памятниках письменности оно связано с требованиями метрики, обусловленными стихотворной формой.

В настоящее время подобные факты можно наблюдать и в живом просторечье (*bažum oğlu, dādām evi, gözümlə jəşu* и т. п.), что связано не с отождествлением двух близких по значению категорий, а с присущей разговорной речи тенденцией экономии языковых средств.

Следует отметить также интересный факт, связанный с выпадением суффикса родительного падежа; в этом случае родительный падеж не оформляется соответствующим суффиксом и форма слова соответствует именительному падежу, напр.: *Gazan divanündə buña garybaža jox idi* (ДГ); *Onlar azmasy žāhan azmasydur* (ӘН, XV); *Lejli anasy der...* (ҺЛМ, XV); *Lejli joluny dutub durardi* (МФ, XVI).

Древность этой особенности подтверждается ее распространением в орхоно-енисейских памятниках [16. С. 104]. Реликты ее и по сей день наблюдаются в некоторых диалектах и говорах азербайджанского языка [2. С. 219; 220; 8. С. 198], а также в керкукском диалекте, напр.: *Gyzdu här dāggā bir māna ediri, vary Gāmbār janyna* (АГ).

Дательный падеж. Данный падеж, указывающий сторону, направление, в памятниках письменности средневековья выступает в семантическом и функциональном отношении многогранно. Формально дательный падеж выражается посредством суффиксов -а, -ә. Вместе с тем изредка встречается также кыпчакско-карлукский вариант с суффиксами -ya, -kä, напр.: *bizyā* (ГБ, XIV); *gözümyä* (КТ, XV); *Dustlaryä* (ШН, XVI).

Суффиксы -а, -ә, будучи самыми древними показателями дательного падежа [25. С. 279], указывали направление, место действия, исходную точку, объект действия.

а) **Дательный падеж выполняет функции местного падежа**, напр.: *Samy günlūji jer jūzinā tikdirmişdi* (ДГ); *Jusifün jerünā görürdi ani* (СДЗ, XIV); *Dokdüm gözümlə jəşuni joluñā gežä-gündüz* (ГБ, XIV); *Zānnāt āhli žānnātā etmiş gārar* (ӘН, XV); *Bir zalüm ālünā giriftar ola māzlunı* (КТ, XV); *Bu ayzumä gār bolajdy jüz dil* (Х, XV); *Fārat çajynūñ gyraçynā bir-birinā uyrāşdylar* (ШН, XVI).

В. Котвич отмечал, что, несмотря на полное различие значений суффиксов дательного и местного падежей в настоящее время, исторически взаимозаменяемость этих падежей была широко распространенным явлением [15. С. 184].

По мнению Э. В. Севортяна, это было связано с незавершенностью в древний период процесса семантической дифференциации падежей и стабилизации средств выражения языка, в том числе и глагольного управления, во многом отличного от современного [23. С. 46].

Вообще, способность падежей к взаимозаменяемости по значению в той или иной степени наблюдается в азербайджанских литературно-художественных памятниках до XVI в. И это естественно, так как процесс стабилизации, нормализации и уточнения средств выражения, начавшийся с конца XVI в. и продолжавшийся до середины XVII в., захватывает также и падежную систему. По мере того как каждый суффикс закрепляется за определенным падежом, уточняется механизм управления: проясняется роль каждого падежа в падежной системе. Постепенно древняя недифференцированность в нормализованном литературном языке устраняется, проявляясь лишь в диалектах и говорах. Не случайно эта древняя особенность чаще всего наблюдается не в языке классиков (Насими, Физули и др.), использовавших нормализованный язык, а в языке памятников, отражающих общенародный разговорный язык. В

период же стабилизации это явление наблюдается только в диалектах и говорах. Следовательно, смысловая замена падежей исторически происходит на основе общенародного разговорного языка, проникая в литературный язык, а после его нормализации удерживается как реликтовое явление в диалектах и говорах.

В некоторых диалектах и говорах дательный падеж и в настоящее время может заменять по значению местный [2. С. 153; 1. С. 160; 8. С. 199].

б) **Дательный падеж выполняет функции исходного падежа**, напр.: *Illa Zulejxa ki, utandi bu sözä, Utandyundan ätägün örtädi jüzä* (CJ3, XIV); *Bunuñ üzärinä bir jyl säkkiz aj keçdi* (3C3, XIV); *Sän ej äbru käman dilbär, xuda üçün garşumä gäl keç* (KT, XV); *Ol iki mä'sumnuñ; başüni käsdi gançuyajä asdi* (ШН, XVI).

Подобные факты бытуют и поныне в некоторых диалектах и говорах [1. С. 160; 12. С. 164].

Как известно, в современном азербайджанском литературном языке глагол *сормаг* требует употребления перед собой слова в исходном падеже. В памятниках же это правило соблюдается не всегда. Так, например, лексема, управляемая глаголом *сормаг*, дается не в исходном, а в дательном падеже, напр.: *Mäni saña sorsa, baba, doğru xəbär vergil* (ДГ); *Jähudäjä sordylar* (CJ3, XIV); *žanümün sajırluynı aña sor* (ГБ, XIV). *Bäşirä sordı...* (ШГJ, XV).

Вместе с тем в литературно-художественных образцах азербайджанской письменности средних веков мы иногда наблюдаем то, что характерно для современного языка, напр.: *Äbu Sufjandan xəbär sordylar* (3C3, XIV); *Sordum läbündän därdümi...* (ГБ, XIV).

Наличие подобных фактов в языке классиков XIII—XIV вв., таких, как Мустафа Зерир, Гази Бурханеддин, свидетельствует о том, что эта особенность была присуща общенародному разговорному языку с древнейших времен. Однако в результате давления классического стиля в языке письменности она не приобрела широкого распространения. Таким образом, употребление слов, управляемых глаголом *сормаг*, в дательном падеже является фактом, сохранившимся благодаря традициям памятников письменности, и не случайно наблюдается в языке письменности XIII—XV вв. В период же стабилизации и нормализации языка статус нормы приобретают особенности древнейших времен, присущие разговорной речи. Это подтверждают примеры из устной народной литературы, а также факты диалектов и говоров, когда глагол *сормаг* требует употребления слова в дательном падеже, что не наблюдается ни в одном из упомянутых письменных источников.

В. Асланов считает, что отмеченная особенность связана с семантикой глагола *сормаг* [5. С. 104—105].

То же самое можно сказать и относительно глагола *ярышмаг*. Известно, что в современном азербайджанском литературном языке слова, управляемые глаголом *ярышмаг*, в зависимости от места употребляются или в дательном или в исходном падеже. В памятниках письменности, как правило, слова, управляемые этим глаголом, принимают суффикс дательного падежа, напр.: *Birinä jaryşdy qırx jerdän avaz gäldi* (ДГ); *Saçı garanuñ zülfinä jaryşdy Näsimi* (ИН, XIV); *A häkim jaryşdy xär gujıruynä* (ӘН, XV); *Jaryşdy jaxasyña* (X, XV); *Guluñ saçını dutdy, gui dāxi anuñ saggalünä jaryşub özinä çäkdı* (ШН, XVI). Это можно наблюдать также в образцах устной народной литературы, напр.: *Oldu gyr-saggyz jaxama jaryşdy* (Дилгәм, XVIII); *Jaryşma güžün çatmajan daşa* (АӘ, XIX—XX).

в) **Дательный падеж** выполняет функцию **винительного падежа**, напр.: *Äbdürrähmana muştulady kim, aţon sućuny baýuşlady* (ЗЈһ, XIV); *žännät ähli žähännämä gyldy sejr* (ӘН, XV); *Imam Hüsejn... bu sözü täsdüg ejläjub dedi* (ШН, XVI).

Реликты этого явления, изредка встречавшегося в языке письменности, и по сей день сохраняются в некоторых диалектах и говорах [1. С. 160; 12. С. 164].

Одной из интересных особенностей, обращающих на себя внимание в памятниках литературы, является безаффиксальное употребление дательного падежа; т. е. слова, будучи в именительном падеже, выполняют функцию этого падежа, напр.: *Bir дәxi ġerü jolum vardum* (ЗЈЗ, XIV); *Kafär mägär belä iş kafär gylä* (ШН, XVI).

Интересно отметить, что безаффиксальное употребление дательного падежа изредка наблюдается и в орхоно-енисейских памятниках [16. С. 108].

Следы этого явления и сегодня сохранились в некоторых диалектах и говорах азербайджанского языка [1. С. 163; 21. С. 120].

Винительный падеж в памятниках выражен посредством различных морфологических формантов.

1) *-y, -i*. В отличие от современного азербайджанского литературного языка, суффикс *-y, -i, -u, -ü* исторически не имел четыре варианта в письменном языке; он отражался на письме при помощи арабской графики как *-y, -i, اى*

2) *-ny/-ni*. Этот формант также передавался в арабской графике как *-ny/-ni نى* и обычно присоединялся к словам, оканчивающимся на гласные. Однако иногда в азербайджанском литературном языке средних веков (как и в древнеуйгурском, джагатайском и староузбекском), суффикс *-ny, -ni* присоединялся к словам, оканчивающимся на согласные, напр.: *Özümni* (ГБ, XIV); *sizni* (КТ, XV); *Gözlärümni* (ХТ, XV); *ğözünni* (ШГЈ, XV); *jüzümni* (ҺЈМ, XV); *...bizni* (ШН, XVI).

3) *-ju, -ji*. Этот суффикс широко распространен в памятниках литературы как формант винительного падежа, напр.: *Boržluju* (ДГ); *açuju* (СЈЗ, XIV); *Bitiji; İgnäji* (ЗЈһ, ЗСЗ, XIV); *Värgäji* (ЈБК, XIV); *Sajruju* (ГБ, XIV); *Asaji* (ШГЈ, XV); *Lejliji* (ҺЈМ, XV); *Jähjaji* (ҺС, XVI); *gariji* (ШН, XVI).

Характерный для всех синхронных срезов азербайджанского языка формант *-ju, -ji* литературной нормой не стал и был вытеснен суффиксом *-pu(-ni)*, сохранившись лишь в диалектах и говорах.

Суффикс *-ju(-ji)* ныне выступает как литературная норма в турецком и гагаузском языках [14. С. 78; 20. С. 116]; в азербайджанском же языке он сохранился в основном в западных [1. С. 76] и южных [3. С. 86] диалектах, а также в говорах сел Гобу, Хекмали, Гюздек [28. С. 10].

Язык письменности средневековья обладает целым рядом интересных особенностей, связанных с употреблением винительного падежа:

а) В большинстве случаев после аффикса принадлежности грамматический показатель винительного падежа не употребляется, напр.: *Bizim sözümüz almaz* (ДГ); *Dinlä sözüm* (СЈЗ, XIV); *Sahünüz alun ġerü* (ЈБК, XIV); *muradum ver bularä* (ШГЈ, XV); *Eşg ilä topragum etdilar xämir* (ҺЈМ, XV); *Älä almaz oldum män sazım* (Х, XV); *Fatimä... mü-baräk ġözi jumdy* (ШН, XVI).

Интересно, что то же самое наблюдается в устной народной литературе, напр.: *Käs zijarim*, *doğra bayğum jar ücün* (Г, XVI); *Gäm bayğum ojar mänim* (СА, XVII); ... *Sözüm söjläräm äjan* (ХГ, XVIII).

б) Грамматический показатель винительного падежа отсутствует и в том случае, когда управляющий словом глагол требует винительного падежа. Винительный падеж формально уподобляется именительному, хотя семантически соответствует определенному винительному падежу, напр.: *Jusif ajdur kim, jazug bu işlädi* (CJЗ, XIV). *Cu Jusif Ibn-Jamin götürdi* (ШГJ, XV); *Žahan bir jan görürmən, sizni bir jan* (КТ, XV); *Häzrät nä nästā čox sevür* (ШН, XVI).

В языке литературных памятников подобные факты встречаются довольно редко.

Безаффиксная форма определенного винительного падежа обращает на себя внимание в образцах устной народной литературы, напр.: *Aşuyam Baydad ara, Zülfünü bayda dara* (СА, XVII).

Следы данного явления и по сей день наблюдаются в бакинском диалекте, напр.: *Gyz ämisi oylunyn äväzinä Mähämmäd alat tärkinä* [28. С. 221].

В тюркских языках на ранних этапах их развития эта особенность, очевидно, имела широкое распространение.

в) Глагол *дутмаг/тутмаг* в языке Насими, а также в «Шухеда-наме» независимо от места в предложении управляет существительным в винительном падеже, напр.: *Dut älimi ki, düşmişäm ägräbü mar içindäjäm* (ИН, XIV); *Apuñ başyny dutub alnyni öpdü* (ШН, XVI).

При употреблении глагола *өрмәк* имена также требуют винительного падежа. В «Шухеда-наме» при наличии глагола *өрмәк* имена находятся в винительном падеже, напр.: *Imam Hüsejn öz Färzändläri janunä çayrugub jüzlärini öpär; Ol häzrät any guzaglajub gözlärinün ortasyny öpdü*.

Следует отметить также факт замены местного падежа винительным при употреблении древнего глагола *qajugmaq* 'бояться, сторониться'. В прозаическом произведении азербайджанского поэта XIV в. Мустафы Зерира Эрзурумского после *qajugmaq* слова принимают суффикс винительного, а не местного падежа, напр.: *Xatun ajdur—bän any gajyugram ki, jalyquz pežä edäjim*.

г) Специфической особенностью языка памятников является также выражение винительным падежом оттенков, присущих дательному, напр.: *Alämi çygdy çavy* (ЗJЗ, XIV); *Gulaşub arsuз dediñüz adymy* (CJЗ, XIV); *Şükür olsun säni bizä veräni* (X, XV); *Gäflär daşlari üstündä jatanların äväzini sän ajyg ol* (ШН, XVI).

Подобные факты наблюдаются в памятниках литературы XIII—XVI вв. в качестве реликтов языка более древних эпох, сохранившихся в некоторых диалектах и говорах [2. С. 156; 12. С. 164], в том числе в карлукском диалекте, напр.: *Bu sular uluğ-uluğ, Gyzlar doldury tuluy, Biläziğün tapany, Nä verisän muştuluy* (АГ).

Подобная взаимосвязь между винительным и дательным падежами отмечается и в древнетюркских источниках [16. С. 143]. В настоящее время она сохранилась в караимском и гагаузском языках как одно из самых распространенных грамматических явлений [14. С. 160; 18. С. 155].

Местный падеж в литературных памятниках, как правило, грамматически выражается посредством суффикса *-da, -dä*.

Суффиксы *-da, -dä*, считающиеся наиболее древними в истории развития тюркских языков, в литературном языке, помимо выражения зна-

чения местного падежа, служат для указания направления действия, исходной точки, стороны, т. е. выступают в функциях дательного падежа.

а) **Местный падеж выполняет функции дательного падежа**, напр.: *Bir kişi bir daneşmāndi evindā gonagluğa çaayrdı* (ЗН, XIV); *Mānūmlā bu mazar içindā ğirgil* (ӘН, XV); *Ālūni ğignūdā gody ol anun* (ХТ, XV); *Mān bu dūnjani heç sevmāzām, māni dut vā gābrūñ içindā ğirdür* (ШН, XVI).

Реликты употребления местного падежа в функции дательного в настоящее время наблюдаются в некоторых диалектах и говорах азербайджанского языка [2. С. 153; 1. С. 160; 12. С. 164]. Эта же особенность отмечается и в памятниках, отражающих древнейшее состояние тюркских языков [30. С. 81; 30. С. 107; 16. С. 152].

Местный падеж выполняет функции исходного падежа, напр.: *Sözlārdā gangū söz keĵ doyrudur* (ЗЗ, XIV); *Gābr içindā tyşra çyga otura* (ЖБҚ, XIV); *Jürāĝim üstündā açgil sināmi* (ӘН, XV); *Mānūm hatirūmdā bu keçür* (ШН, XVI).

Подобные взаимоотношения между местным и дательным падежами проявлялись в языке письменности XIII—XVI вв. как реликты более древних эпох. Следы этих отношений и сегодня можно наблюдать в некоторых диалектах и говорах [29. С. 301; 1. С. 160].

Исходный падеж указывает на начало действия, его исходную точку, место, пространство и в памятниках выражается посредством суффикса -*dan*, -*dān*. В языке литературных памятников XIII—XVI вв. иногда встречается «узкий» вариант исходного падежа (-*dyn*, -*din*), характерный для кыпчакского и карлукского языков, напр.: *Dad edisār degül sāndin saḡa* (ӘН, XV); *Gözlārūmdin dāmbādām axur jaşlar* (КТ, XV); *Dilārām sāndin üç hażāt räva gyl* (ҺГ, XVI).

Суффикс -*dan*, -*dān* в азербайджанском языке средних веков, употребляясь в качестве аффикса исходного падежа, в то же время мог выступать и в функции других падежей.

а) **Исходный падеж выполняет функцию местного падежа**, напр.: *Gamusunuñ jary ayzundān gurur* (СЗ, XIV); *Malū mülki tārķ edüb oldum eşiğündān bir it* (КТ, XV); *Doğru jola varanuñ ālūdān hālak olā* (ШН, XVI).

Этот факт наблюдается в языке литературных памятников как реликт более древних эпох, сохранившийся также в некоторых диалектах и говорах [1. С. 160; 12. С. 164; 8. С. 220].

б) **Исходный падеж выполняет функции дательного падежа**, напр.: *Ej bilisim, bāndān axur olma jad* (ЖБҚ, XIV); *Ejbi var isā andān göz jumā* (ӘН, XV); *Jaş jerūdān gözlārūdān gan axudurlar* (ШН, XVI).

В настоящее время эта особенность сохранилась в муганской группе говоров азербайджанского языка, напр.: *Sizdān çox ümidim var* [2. С. 153].

Основываясь на приведенных фактах, правомерно утверждать, что падежная система—продукт длительного исторического развития. В процессе формирования категории падежа средства, выражающие эту категорию, сокращались количественно, совершенствуясь с точки зрения уточнения их семантики.

В результате значения падежей стабилизировались, приобретали со временем статус нормы.

СОКРАЩЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ

АГ — «Арзы Гәмбәр». Кәркүк халг дастаны. Бақы, 1971.

АӘ — Ашыг Әләскәр. Бақы, 1963.

- ГБ — Kadi Burhaneddin Divanı. Prof. Dr. Muharrem Ergin. Istanbul, 1980.
- ДГ — Dedem Korkut kitabı. Nazırlayan Orhan Şair Göryary. Istanbul, 1975.
- Дилгәм-дилгәм. Баку, 1975.
- ӘН — «Әсрарнамә». Баку, 1964.
- ИН — Имадәддин Нәсими // Әсәрләри. Баку, 1973. Ч. 1—3.
- ЗЈЗ — Әрзурумлу Мустафа Зәрир. Јусиф вә Зүлөјха. Istanbul, 1943. Г. S. I.
- ЗЈҺ — Әрзурумлу Мустафа Зәрир. Јүз һәдис. Istanbul, 1954 Г. S. IV.
- КТ — Кишвәри Тәбризи. Диван. РӘФ. ФП-254.
- ЈВҚ — İsmail Hikmet Ertaqlan, Varaka ve Gülşah. Istanbul, 1945.
- МФ — Мәһәммәд Фүзули // Әсәрләри, Баку, 1958. Ч. 1—3.
- СА — Сары Ашыг. Бајатылар // Устад ашыглар, Баку, 1983.
- Х — Шаһ Исмајыл Хәтаи // Әсәрләри, Баку, 1975. Ч. 1; 1976. Ч. 2.
- ХГ — Хәстә Гасым. 46 ше'р, Баку, 1975.
- ХТ — Хәтаи Тәбризи. Јусиф вә Зүлөјха. РӘФ, М-185/2438.
- ҺГ — Һәнифә һиссәси вә јахүд «Чәнкнамә». ФС-208.
- ҺЛМ — Һәгири. Лејли вә Мәчнун. РӘФ, ФП.
- ҺС — Мәһәммәд Фүзули. Һәдигәтүс-сүәда, РӘФ, М-249/11468.
- ШГЈ — Шәмс. Гиссеји-Јусиф, РӘФ, ФС-208.
- ШН — Нишати. Шүһаднамә, РӘФ, ФС-211/24269.
- Л И Т Е Р А Т У Р А
1. Азәрбајҗан дилинин гәрб групу диалект вә шивәләри. Баку, 1967.
 2. Азәрбајҗан дилинин Муган групу шивәләри. Баку, 1955.
 3. Азәрбајҗан дилинин Нахчыван групу диалект вә шивәләри. Баку, 1962.
 4. Асланов В. Из этюдов по исторической фонетике азербайджанского языка (о фонеме «н») // Изв. АН АЗССР. Сер. лит., яз. и искусства, 1966, № 2.
 5. Асланов В. Фе'ли идарә илә әлагәдар олараг исим һалларынын миграциясы һағында бә'зи гејдләр // Азәрб. ССР ЕА «Хәбәрләри». Ичтимаи елмләр серијасы, 1960, № 2.
 6. Ахундов А. Азәрбајҗан дилинин тарихи фонетикасы. Баку, 1973.
 7. Бертегасв Т. А. К генезису некоторых падежей в монгольских языках // Кратк. сообщ. Ин-та народов Азии. Монголоведение и тюркология. М., 1964, № 83.
 8. Бехбудов С. Некоторые синтаксические особенности зангеланского говора. Вопр. диалектологии тюркских языков. Баку, 1960. Т. 2.
 9. Векилов А. П. Аффиксы падежей в анатолийско-турецких диалектах // Вопр. тюркологии (к шестидесятилетию академика АН АЗССР М. Ш. Ширалиева). Баку, 1971.
 10. Гукасян В. Л. Взаимоотношения азербайджанского и удинского языков // Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Баку, 1973.
 11. Дәмирчизадә Ә. Азәрбајҗан әдәби дилинин тарихи. Баку, 1979. Һ. 1.
 12. Исламов М. Азәрбајҗан дилинин Нуха диалекти. Баку, 1968.
 13. Зејналов Ф. Түрк дилләринин мугајисәли грамматикасы. Баку, 1974. Һ. 1.
 14. Зејналов Ф. Түрколокијанын әсаслары. Баку, 1981.
 15. Котвич В. Л. Исследование по алтайским языкам/Пер. с польск. М., 1962.
 16. Мәммәдов Ј. Орхон-Јенисеј абидәләриндә исим (Азәрбајҗан дили илә мугајисәдә) нам. дисс. Баку, 1966.
 17. Мирзәзадә Һ. Азәрбајҗан дилинин тарихи морфолокијасы. Баку, 1962.
 18. Мусаев К. М. Грамматика карайского языка. М., 1964.
 19. Насилов В. М. Древнеуйгурский язык. М., 1963.
 20. Покровская Л. А. Грамматика гагаузского языка. М., 1964.
 21. Рагимов М. Ш. Диалекты и история языка // Вопр. диалектологии тюркских языков. Баку, 1960. Т. II.
 22. Ряснян М. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1955.
 23. Севортян Э. В. Категория падежа // В сб.: Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. М., 1956, Т. II: Морфология.
 24. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Фонетика. М., 1984.
 25. Серебрянников Б. А. О некоторых проблемах исторической морфологии тюркских языков // Структура и история тюркских языков. М., 1971.
 26. Һачыјев Т. Азәрбајҗан әдәби дил тарихи. Баку, 1976.
 27. Һачыјев Т. XX әсрин әввәлләриндә Азәрбајҗан әдәби дили. Баку, 1977.
 28. Ширәлијев М. Ш. Баку диалекти. Баку, 1957.
 29. Ширәлијев М. Ш. Азәрбајҗан диалектолокијасынын әсаслары. Баку, 1968.
 30. Щербак А. М. Грамматический очерк языка тюркских текстов X—XIII вв. из Восточного Туркестана. М.; Л., 1961.
 31. Щербак А. М. Грамматика староузбекского языка. М.; Л., 1962.
 32. Щербак А. М. Сравнительная фонетика тюркских языков. М., 1970.

Р Е Ц Е Н З И И

ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ ПО ТЮРКСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

(ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРКОЛОГИЯ: ДРЕВНИЕ ТЮРКСКИЕ ЯЗЫКИ
И ЛИТЕРАТУРЫ. М.: НАУКА, 1986. 384 с.)

Выпуск указанного сборника (редактор А. Н. Кононов, составитель С. Г. Кляшторный), в который вошли работы, вышедшие в 1959—1973 гг., позволяет познакомиться с наиболее важными достижениями западно-европейских специалистов в области тюркской филологии. Включенные в сборник статьи в некоторых случаях снабжены специальными авторскими дополнениями, написанными именно для данного перевода и отражающими современное состояние трактуемых проблем.

В лаконичном «Предисловии» (с. 3—10) С. Г. Кляшторный и Д. М. Насилов дают краткую характеристику тюркологических исследований в странах Западной Европы начиная с труда Ф. Страленберга (Табберта), посвященного языкам народов Сибири, в том числе тюркских. Однако следует отметить, что тюркологические открытия в Западной Европе начали появляться лишь с XIX в.—после формирования научной тюркологии в России, когда западная наука стала уделять внимание не только турецкому, который был наиболее популярен в Европе, но и другим тюркским языкам. Приведем краткие характеристики научной деятельности ученых, статьи которых представлены в сборнике.

Первая серия из трех самостоятельных статей посвящена проблеме языка европейских гуннов и, возможно, связанных с ними генетически северных соседей Китая, известных под именем «сюнну» в I в. до н. э.—I в. н. э. Правда, ни один из трех авторов переведенных работ не считает «гуннский язык» заведомо тюркским, однако при этом каждый исследователь использует свои аргументы и приходит к выводам, подчас диаметрально противоположным относительно полемизирующих с ним оппонентов.

Так, известный западно-германский алтаист Йоганнес Бенцинг в своей обобщающей работе о гуннских, дунайско- и волжско-булгарских языковых фрагментах (с. 11—28 рецензируемого сборника) считает,

что «с лингвистической точки зрения... «гуннского языка» не существует» (с. 12), хотя «...прототюркские и протомонгольские (т. е. так называемые «алтайские») племенные группы относятся к гуннам. А почему к гуннам не могли принадлежать и «палеоазиатские» группы? Итак, мы видим, сколь трудным оказывается рассматриваемый нами вопрос» (там же).

Автор допускает и «...прямую связь между гуннами Аттилы и болгарами, неславянскими предками современных болгар... Но даже если это и верно, мы все же еще не знаем, восходит ли язык болгар к языку настоящих гуннов или какой-нибудь группы псевдогуннских племен» (с. 14).

Закljučают статью выводы о том, что «если отнесение языка дунайских болгар к числу тюркских языков может вызывать сомнение, [то.—Т. Г. и И. Д.] язык волжских болгар вне всякого сомнения тюркский» (с. 18), в доказательство чего приводятся болгарские, хазарские, суварские и чувашские глоссы. Обращает на себя внимание твердая убежденность И. Бенцинга в том, что в отношении чувашского языка (и соответственно позднебулгарского) речь может идти только о переходе *з* в *р* (но не *р* в *з*!); в то же время и чередование *л*—*ш* рассматривается автором как указание на вторичный характер согласного *л* (см. с. 22).

Переводчик (В. Г. Гузев) стремился приблизить русские переводы болгарских эпиграфий к переводам Н. И. Ашмарина, сохраняя вместе с тем их верность немецким переводам И. Бенцинга. Столь разномысленные стремления помешали, вероятно, дать комментарии отечественных языковедов по поводу трактовки западно-европейскими учеными отдельных антропонимов и апеллятивов, высказанные ими в разное время. К примеру, имя жены Аттилы, отраженное в герм. *Эрика*, наряду с предлагаемым заднерядным тюркским этимоном *арыг-кан* 'чистая княгиня' (ср. с. 14)

допускает и более близкий переднерядный оним *иркэ* 'нега, ласка'.

Английский синолог Э. Дж. Пуллиблэнк в статье «Язык сюнну» (с. 29—70) на основе уточненного фонологического прочтения содержащихся в старокитайских текстах эпохи Хань 12 таких сюннских слов, как *гу-ту* 'сын', *цзюэ-ти* 'лошадь', *цзе* 'камень', а также выявления реалий со значениями 'молокопродукты' и 'титулы' приходит к предположению о родстве данного языка с палеосибирскими, которые «...некогда были гораздо более широко распространены, чем в XIX и XX вв.» (с. 64). Отсюда маловероятно, заключает автор, «...чтобы язык сюнну был алтайским языком» (с. 62), поскольку сюнну говорили на языке енисейской семьи (что как раз и призваны подтвердить, по мнению автора, точные соответствия слов со значениями 'небо', 'камень', 'сын', 'молоко', 'кумыс' и под.), а монголы и тюрки, которые после них стали хозяевами восточных степей, унаследовали от них элементы культуры и политической организации вместе с соответствующей лексикой (см. там же).

Ведущий ориенталист ФРГ, профессор Гёттингенского университета Герхард Дёрфер в острополемическом исследовании о языке гуннов (с. 71—134) критически обзорекает до десятка гипотез, идентифицирующих народы хун, сюнну и гуннов с позднейшими монголами, тюрками, тунгусами, кетами и даже... финнами и иранцами, в результате чего склоняется к негативному, по существу, заключению о том, «...что ни язык сюнну, ни язык европейских гуннов не принадлежат к какой-нибудь известной или ныне существующей языковой семье, более того (как в случае с шумерским, угаритским¹), речь идет о вымерших языковых группах. Является ли этот вывод неожиданным? Но мертвых языков больше, чем живых» (с. 113).

Автор справедливо указывает на чрезвычайно мизерный аналитический материал: «Достоянием науки стали пока только около 20 гуннских слов и гуннское двустипие, передаваемое китайским письмом (объем—10 слогов). Скудости материала противостоит обилие гипотез» (с. 72).

Большей частью обоснованно критикуя своих предшественников за некорректные сопоставления и этимологии, Г. Дёрфер, к сожалению, допускает и определенные полемические перегибы, зачастую сознательно приводя к нелепости те или иные из обсуждаемых реконструкций согласно неоднократно повторяемому им принципу: «Кто ищет, тот находит». Так, единственный связный текст на языке цзе, «подозрева-

емый» в гуннском происхождении и состоящий из китайских иероглифов *сю-чжи* 'войско', *ти-ли-ган* 'выходить', *пу-гу* 'варварский титул' и *цюй-ту-дан* 'пленил' (см. с. 61—62 сборника), Г. Дёрфер в I томе своей капитальной работы *Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen* (Wiesbaden, 1963. С. 96) предложил—правда, в виде иронии—считать написанным... по-аккадски либо эскимосски. В другом случае, напротив, уже эскимосские, а равно готтентотские или ботокудские антропонимы также иронически предлагается интерпретировать как тюркские (с. 90—91 сборника).

В свою очередь, достойны дальнейшего всестороннего рассмотрения выдвигаемые автором предположения о «странствующем» характере этнонима *гунн* (с. 81), табуированности монгольского обозначения *татар* (с. 79—80) и ряда других терминов.

Г. Дёрфер настаивает на исключительно германской (готской) этимологии имени гуннского предводителя *Аттила* в значении 'бабушка' (с. 97), считая, что тюркская версия, связывающая данный антропоним со среднетюркским гидронимом *Этиль* 'Волга' (ср. современные чуваш. *адăл*, тат. *идел*, башк. *изел* 'большая река'), исчерпала себя. Однако как раз в области ономастических исследований крайне трудно настаивать на единственной («абсолютной») этимологии, в то время как одновременное сосуществование нескольких «относительных» этимологий пока допустимо—ср. неадекватно толкуемые с позиций *разных* языков этнонимы и топонимы *рус(ские)*, *славяне*, *Москва* и др.

Второй цикл публикаций сборника трактует сложные проблемы возникновения и бытования разных систем письменностей у древних тюрков.

Крупнейший английский востоковед Джерард Клосон в статье «Происхождение тюркского «рунического» письма» (с. 135—158) отстаивает популярную среди западных ориенталистов гипотезу о создании древнетюркской «руники» (последний термин—от герман. *руна* 'тайна'—как известно, не вполне правомерно применяется к тюркским письмам, почему и заключен автором в кавычки) на арамейско-иранской основе с добавлением нескольких греческих букв для обозначения переднерядных гласных. Привлекают внимание четкие датировки и остроумные догадки Дж. Клосона: второе десятилетие VIII в. н. э.—составление текстов древнейшего из дошедших до нас памятника в честь Тоньюкука, хотя само «...письмо, несомненно, существовало и ранее» (с. 137); середина VI в.—время отчасти криптографического изобретения «рунического» алфавита по приказу Истэмикагана для письменного общения со своим послом Маняхом Согдийцем к византийскому императору Юстиниану II в 567 г. н. э. (с. 138). Наглядно представлены в

¹ Переводчик не заметил ошибки автора, который вместо *угартский* употребил название одного из семитских языков—*угаритский*.

статье 6 сопоставительных тюркско-иранских графических таблиц с подробными комментариями к каждому буквенному знаку.

Сюда же примыкает обстоятельная работа выдающейся немецкой исследовательницы доисламской письменности центрально-азиатских тюрков Аннемари фон Габэн о системах древнетюркского письма и различных формах функционирования книжности (с. 159—190). Детально анализируются места хранения древнетюркских рукописей и оттисков (ГДР и ФРГ, СССР, Великобритания, Франция, Швеция, КНР, Япония, Турция), районы находок (Турфанский оазис и провинция Ганьсу в Китае), материал письма (преимущественно бумага, ставшая известной за пределами Китая с 751 г. н. э.—см. др.-тюрк. *кагда* из перс. *kāğaz* 'бумага', ср. кит. (*ку*(к)/*к'ак* 'бумажное тутовое дерево'), инструменты письма (тушь, тростниковые перья и волосяные кисточки), формы книг (европейского типа, из пальмовых листьев, складные в виде гармоник и др.), пагинации, заглавия, миниатюры и рисунки, пунктуация и виды письма («руны», согдийское, уйгурское, «эстрангело», манихейское, брахми, тибетское), переплесты и жертвователи манускриптов, датировка текстов.

Любопытно указание автора о генезисе так называемых рун, «... которые внешне напоминают германские руны, но не имеют с ними никакого родства» (с. 170); «...данное письмо является, видимо, заимствованием из арамейского курсива—из аршакидского канцелярского письма, превосходно приспособленным к тюркским фонетическим отношениям. Представляется возможным также установить его родство с венгерскими резами» (там же).

Третье тематическое направление сборника составляют две статьи о ранних тюркских литературах.

Ректор Института востоковедения в Неаполе, профессор тюркской и иранской филологии Алессандро Бомбачи в монографическом очерке истории и стилей тюркских литератур, распространённых начиная с VIII в. н. э. на значительной части Азии и Восточной Европы, а в течение некоторого времени—и в Северной Африке (с. 191—293), разграничивает устную и письменную литературы, выделяя в последней доисламский, исламский и современный периоды. Подробно обсуждаются многочисленные жанровые, стилистические и метрические особенности литературных произведений. Принципиально ставятся вопросы о домусульманском наследии в тюркской словесности, о позитивном характере иноязычных (прежде всего арабо-персидского, а затем и европейского) влияний.

Периодизация итальянским востоковедом литературного процесса у тюркских народов, населяющих нашу страну, несколько отличается от представлений советских спе-

циалистов. Наиболее ранней из национальных литератур А. Бомбачи считает азербайджанскую (с первой половины XIX в.), затем следует османско-турецкая (с середины прошлого столетия); «современная литература у других тюркских мусульманских народов появилась чуть позднее: в последние десятилетия XIX в. (крымские и казанские татары, казахи) или даже в XX в. (узбеки, современные уйгуры, туркмены, киргизы, каракалпаки, башкиры, кумыки и карачаевцы)» (с. 280).

Близкая к только что рассмотренной статья А. фон Габэн «Древнетюркская литература» (с. 294—344) демонстрирует блистательный обзор рукописных произведений фольклора, буддийских молитв, манихейских песнопений, переводов христианского вероучения, дидактических текстов и научных трактатов. В лапидарном «Заключении» автор резюмирует: «Древнетюркская литература возникла как дальнейшее развитие устной народной тюркской литературы» (с. 334). Новым в ней было миссионерское направление, развитое самими тюрками и доведенное до полного завершения. Особенно велико было в этом процессе «...культурное возвышение уйгуров со времени их поселения в городах» (там же).

Последнюю, четвертую, группу публикаций выпуска образовали две историко-культурологические статьи видного французского тюрколога Луи Базэна. В одной из них тексты древнетюркских эпитафий квалифицируются как жанр стихийной историографии, выросший из нужд религиозной идеологии и династических интересов. Примечателен четкий географо-хронологический контекст памятников. Космологические направления ориентированы на восход Солнца: 'вперед'—значит 'на восток', 'назад'—'на запад', 'направо'—значит 'на юг', 'налево'—'на север'. По мнению автора, центрально-азиатские тюрки различали четыре времени года аналогично европейским, а в ряде случаев указывали на периоды суток; но деления на часы у них в бычае, по-видимому, не было (см. с. 357—358).

Вторая статья как бы конкретизирует предшествующую, в ней досконально анализируются понятия *йаш* 'год возраста', *йыл* 'год физического времени' и связанные с ними термины. Первый из них связан с древнетюркскими омонимами, выросшими из полисемии: *йаш* I 'влажный' и II 'слезы'; ср. также *йаш* от 'молодая, свежая трава' и *йэш-ил* 'зеленый'. Следовательно, новый год и год возраста человека отсчитывались с появления вновь зазеленевшей травы, поэтому западные народы делали ошибку, переводя тюркский возраст как абсолютный (исторически же правильно вычитать один из общего числа *йаш*). Тюркский *йыл* (точнее, чувашский **йал*) является этимологическим дублетом *йаш*, восходя вместе с ним к одному алтайскому прото-

типу *h'al* 'влага, сок', см. также венг. *nyál* 'плевок'.

Световой день *kün*, что означает 'солнце', отличали от ночи *tün*, причем те и другие считались отдельно. 'Месяц' же связан с 'луной' *ay*. Таким образом, два дня являлись 'двумя солнцами', а два месяца — 'двумя лунами', причем оба светила воспринимались как живые существа — ср. глагол *toğ* — 'рождаться' и 'восходить' (о солнце). Автор тонко подметил особенность древнетюркской фиксации даты рождения по продолжительности беременности: «Десять лун она носила (меня) моя мать», что совершенно точно эквивалентно девяти месяцам, поскольку полным годом возраста считалась всякая вообще часть года, прожитая лицом» (см. с. 368).

12-летний животный цикл тюрки заимствовали из Китая в VI в., переводя на свой язык астрологические символы: Мышь, Коровы, Тигр, Заяц, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух, Собака, Свинья (с. 370).

Замечания и пожелания рецензентов по поводу содержания и оформления настоящего и последующего выпусков «Зарубежной тюркологии» сводятся к 10 пунктам:

1. В первой книге серии представлены языки, литературы и отчасти культура древнетюркских народов. Между тем в комплекс современной тюркологии входят история, этнология и искусство тюрков, а также их филология средневековой и нового времени, которые ждут своего освещения на страницах будущих сборников.

2. Благодаря вышедшей книге советский читатель ознакомлен с образцами научного творчества тюркологов ФРГ, Канады, Великобритании, Италии и Франции. Очевидно, на очереди подобное же знакомство с тюркологией Турции, Японии, США, Финляндии, скандинавских стран. Отдельный выпуск могли бы составить труды наших коллег из Болгарии, Венгрии, ГДР, МНР, Польши, Румынии, Чехословакии и других стран социалистического содружества.

3. Допустима компоновка сборников и по диахроническому принципу (у нас до сих пор затруднен доступ к классическому наследию тюркологии XIX—XX столетий): начиная с гениальной дешифровки Вильгельмом Л. Томсеном енисейско-орхонских писем 25 ноября 1893 г., продолжая сериями Вильгельма Банга-Каупа «Турцика» и «Тюркологические письма»... и завершая «Тюркским языковым строем» Кааре Грёнбека (кстати, датская тюркология, представленная уже двумя этими именами, могла бы «претендовать» на выделение в особый выпуск серии).

Ждут своих переводчиков «Грамматика турецкого языка» Жана Дени, текстологические разыскания Карла Броккельмана, грамматические штудии Ананияша Зайончковского и Владислава Котвича, этнолингвистические поиски Юлиуса Немета и Ла-

йоша Лигети, алтаистические реконструкции Г.-И. Рамстедта и Мартти Рясанена, этимологические заметки В. Шотта, К. Фоя, И. Куноша, Б. Мункачи, Т. Ковальского, О. Соважо, Л. Бонелли, К. Сиратори, Т. Ханеды, Я. Экмана, Х. Эрена и др.

Что касается современных тюркологов за рубежом, то имя им воистину легион: А. Бодроглигети, Л. Гржебичек, А. Джафероглу, В. Дримба, В. Зайончковский, Ж. Какук, С. Калужинский, З. Кормаз, К.-Г. Менгес, С. Мураяма, Н. Поппе, О. Прицак, Э. Росси, Ж. Телегди, Э. Трыарский, Г. Ярринг, П. Циме и многие другие.

4. Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о переводах трудов российских тюркологов, изданных за границей и (либо) на иностранных языках. Таковы основополагающие работы В. В. Радлова «Сравнительная грамматика северных тюркских языков. Фонетика» и «Вступительные размышления к представлению морфологии тюркских языков», о необходимости русского переиздания которых уже давно высказывалась отечественная тюркологическая общественность.

5. В будущих выпусках «Зарубежной тюркологии» желательно усилить справочно-ссылочный аппарат — пока он ограничен полустраничной библиографической справкой (с. 383), индексом цитированных источников (с. 380—382) и лаконичными застывшими примечаниями к текстам переводов. Разумеется, издание только выиграло бы, будь оно снабжено аналитическими слово- и формоуказателями ко всем языковым явлениям, трактуемым в книге, а равно кратким биобиблиографическим списком упоминаемых исследователей, к примеру: Моравчик Дьюла — Moravcsik Gyula (1892—1972) — венгерский востоковед-контактолог, академик, профессор, специалист в области византийско-венгерско-тюркских связей; автор работ: *Byzantinoturcica*. Berlin, 1958. Bd. 1—2 и др.

6. Качество переводов видится в целом достаточно высоким (двое из пяти переводчиков — В. Г. Гузев и Д. Д. Васильев — сами являются тюркологами высшей квалификации), хотя отдельные названия статей допускают по-русски более близкие к оригиналам варианты, каковые мы и предпочли бы прочитать в книге, а именно:

а) не «Языки гуннов, дунайских и волжских болгар», но «Гуннский, дунайско-болгарский и волжско-болгарский языки (языковые фрагменты²)»;

б) не «Культура письма и печатания у древних тюрков», но «Древнетюркская письменная культура и печатание»;

в) не «Введение в историю и стиль», но «Вводные заметки по истории и стилю»;

г) не столько «Человек и понятие истории у тюрков Центральной Азии в VIII ве-

² Дословно: остатки.

ке», сколько «...центрально-азиатских тюрков...»;

д) не «Концепция³ возраста у древних тюрков», но «Понятие года при исчислении возраста у древних тюрков» (ср. с. 383);

е) непонятно, почему переводчик редкий книжный грецизм французского языка *pussthème*, обозначающий «сутки», которые не имеют во французском языке другого однословного наименования, переделал в чуждую русскому языку *никтемерию*, что породило совершенно неясную фразу: «Понятие никтемерии (наш «24-часовой день») отсутствовало» (с. 362)—вместо простого: «Понятие суток отсутствовало» (уже без лишнего пояснения в скобках).

7. Составитель и переводчики были, думается, не вправе оставлять без комментариев некоторые очевидные ошибки западных авторов: на с. 12 кетский язык в скобках поясняется как *остякско-самоедский* (правильнее *остякско-*), хотя последнее является старым названием самодийского селькупского языка. Старым же названием кетов было *енисейские остяки*; Хакассия—не «советская автономная республика» (с. 346), но «автономная область».

8. Без специального разъяснения читатель едва ли поймет искусственное противопоставление форм *тюрков*—*тюрков*, относящихся соответственно к древним тюркам и к собирательной их совокупности. С этой позиции вряд ли удобно попеременное, нигде специально не оговоренное употребление семантически различающихся форм *тюрков* и *тюрков* не только в пределах одной страницы (см. с. 29, 72, 73, 159, 185 и пр.; на с. же 297 указанная пара мирно разместилась в пространстве всего из 10 строк!), но даже и в разных статьях сборника. Кстати, нормы современного русского словоупотребления допускают флексийную вариативность для дублетов типа *тюрков*—*тюрков* в соотношении 80 на 20% соответственно⁴.

9. Специалистами всегда остро воспринимаются вопросы транслитерирования иностранных имен собственных на русский язык. Издатели книги следуют здесь в основном установившимся традициям с некоторыми инновационными отступлениями от них. Мы бы предложили восстановить написание *Габэн* вместо почему-то укореняющегося *Габен*.

10. В источниковедческом издании, на которое большинство отечественных тюркологов будет ссылаться как на оригинальные тексты, крайне нежелательны даже малейшие графические неточности и опечатки. Поэтому следовало бы снабдить книгу вклейкой хотя бы таких исправлений, как точное написание имени сэра *Джерарда* (а не *Джеральда*—с. 51) Клосона, английского слова *history* 'история' (с. 383; там же опущены авторские кавычки в переводе определения «рунический») и немногих *lapsus'ov linguae* на с. 8 («обоих империй»), 345 («усились») и под.

Общий вывод рецензентов: дальнейшая публикация очередных выпусков «Зарубежной тюркологии» жизненно необходима для гармоничного развития советской науки в обстановке всесторонней информированности. Надо надеяться и на существенное сокращение временных интервалов между сдачей рукописи в набор и подписанием ее к печати, что в отмеченном случае составило целое четырехлетие (с 1982 по 1986 год).

Для историков же науки данное издание останется в памяти как одна из последних книг, вышедших под ответственным редактированием крупнейшего знатока зарубежной тюркологии, почетного члена ряда иностранных научных обществ, академика Андрея Николаевича Кононова.

Т. М. Гаринов, И. Г. Добродомов

³ Французские *concept* 'понятие' и *conception* 'концепция' выступили здесь в роли «ложных друзей переводчиков».

⁴ См.: Грамматическая правильность русской речи. М., 1976, с. 125—128.

К. УСЕНБЕКОВ, Б. АБЫЛГАЗИЕВ, Ы. КАДЫРОВ. АСКЕР ИШИ БОЮНЧА ТЕРМИНДЕРДИН ОРУСЧА-КЫРГЫЗЧА СӨЗДҮГҮ: РУССКО-КИРГИЗСКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПО ВОЕННОМУ ДЕЛУ

ФРУНЗЕ: ИЛИМ, 1986, 285 с.

Рецензируемый словарь является первым опытом создания специального двуязычного и одновременно толкового словаря; толкование русских терминов словника дается на киргизском языке.

Данный словарь отражает расширение общественных функций киргизского языка и его структурное развитие в советскую эпоху.

Военная терминология получила достаточно широкое распространение в киргизском литературном языке, что в значительной мере обусловлено преподаванием военного дела как в школах, так и в вузах республики.

Поскольку преподавание военного дела и военная служба в Советском Союзе осуществляются на русском языке, публикация настоящего словаря весьма актуальна, тем более что большинство киргизов пока свободно русским языком не владеет. Разработка русско-киргизского военного словаря, как всякого терминологического словаря, способствует развитию лексики и словообразовательных средств киргизского языка, а также практическому усвоению киргизоязычным населением русских и интернациональных заимствований.

Словарь включает свыше четырех тысяч наиболее употребительных терминов по всем отраслям военного дела: по воинским званиям, военной технике, военной истории, географии и т. д., получивших распространение в периодической печати, радио и телевидении, в практике преподавания военного дела.

Словарь не имеет аналогов на киргизском языке, исходным материалом для его составления послужили русские издания: военные энциклопедии, словари, справочники.

По нашим подсчетам, в словаре 3961 заглавное слово, в том числе: 1368 киргизско-интернациональных слов, что составляет 34,53% общего числа включенных в него слов, 1387 слов, образованных из заимствований с помощью словообразовательных средств киргизского языка, то есть 35,01% его состава. При толковании соответствующих киргизских эквивалентов используется 2524 русских и интернациональных терминов, или 63,72% его словарного состава, что свидетельствует о значительной степени интернационализации военной терминологии киргизского языка.

Для передачи на киргизском языке русских терминов используются следующие способы терминообразования: 1) перевод термина: «взрыв»—*жарылуу*, «удар»—*сок-*

ку, «приклад»—*кундак* и др.; 2) калькирование: «биологическое оружие»—*биологиялык курал*, «высота полета»—*учуу бийиктиги*, «невесомость»—*салмаксыздык*, «опорный пункт»—*таяныч пункту*, «поле боя»—*согуш тааласы* и т. д.; 3) аффиксация: «аэромобильность» — *аэромобилдуулук* и т. д. В образовании новых терминов участвуют как отдельные заимствованные русские и интернациональные слова (авиация, автодром, демобилизация, десант, команда, лафет, легенда, парад, парк, снайпер, штык, юнга и др.), так и словосочетания, компонентами которых являются киргизские аффиксы (*авиациялык корпус ракеталык база*, *бомбалоочу авиация*) либо один из компонентов термина—киргизское слово: *роталык танкка каршы таяныч пункту* 'ротный противотанковый опорный пункт', *согуш театры* 'театр войны' и т. д.

Словарь имеет много изъянов, свидетельствующих о недостаточной проработанности его на отдельных этапах: начиная с составления словника и кончая редактированием.

Недостатком словника является неправомерное включение в него многочисленных слов, непосредственно не относящихся к военной терминологии, например: государство, легенда, статистический метод, антициклон, голография, космополитизм, международные каналы и многие другие общепотребительные слова литературного языка. С другой стороны, в словарь необоснованно включены названия разных событий, номенклатурные наименования, а также узкоспециальные термины: *отсечная позиция*, *угловой поправочный коэффициент*, *шхеры* и т. д.

Значительный разноречивый наблюдается и в переводе терминов на киргизский язык: «авианосец» передается на киргизский язык этим же словом, а «самолет-авианосец» переводится как *самолет алып жүргүч*, т. е. 'носитель самолета'; словом *куч* передаются такие различные русские понятия, как *мощь* и *сила* (см. *вооруженные силы*, *морская мощь*), разноречивый и в переводе слова генеральный: «сражение»—*салгылашуу*, «генеральное сражение»—*негизги салгылаш*; «генеральный курс» передается тем же выражением с русским же окончанием. Нет единообразия в переводе таких слов, как *главный*: *башкы*, *негизги*; *головной*—*башкы*, *баштоочу*; *убежище*—*жашырынуучу жай*, а *газоубежище*—*газдан коргонуучу жай* и т. д. По-разному переводятся слова *военный*, *армей-*

ский, войсковой, перевод слова боевой имеет несколько синонимов: *согуштук*, *аскер*, *аскердик*, *кужурмен* (см. с. 30—34); подводные лодки—*суу астындагы кайык* (176), то *суу астындагы кеме* (177). Такой же разницей при переводе слова оборона и многих других. Подобные примеры свидетельствуют о неустойчивости киргизской военной терминологии, требующей унификации и совершенствования, а также о недостатках разработки военных терминов в киргизском языке. Авторы слабо используют существующие лексикографические труды, в частности «Киргизско-русский словарь» К. К. Юдакина, где имеется ряд четко разработанных статей, например: *аскер* 'войско, солдат, воин', *согуш* 'бегство, война', *согуштук* 'военный, воинский' и т. д.

Неудачные переводы на киргизский язык в немалой степени связаны со стремлением авторов во что бы то ни стало передать тот или иной труднопереводимый термин средствами самого киргизского языка. В ряде случаев наблюдается сужение семантики русских слов, например, ружье и винтовка переведены одним словом *мылтык*, то же относится к словам лазутчик и разведчик, переведенных словом *чалгынчы*, меч и сабля—*кылыч*, и многим другим, близким, но семантически неадекватным словам.

В ряде случаев допущены ошибочные и даже безграмотные переводы: «дальномер» переводится как 'стрельба в даль'—*алыска атуучулук*, «красноармейская звезда»—как 'звезда Красной Армии'—*Кызыл Армия Жылдызы*, а слово «наводчик» приобрело искаженный смысл—'заряжающий'—*октоочу солдат*, «самонаводящаяся ракета» превратилась в 'самоуправляющуюся ракету'—*вуу башкарылуучу ракета*, «самолет-заправщик»—в 'заправщик'—*май куйгуч*, немальгузианские теории войны—в 'немальгузианские теории войны'—*согуштун мальтустик эмес теориялары* и т. д.

Не всегда ясно, являются ли слова и словосочетания, приводимые после русского заглавного слова, его переводом или это толкование, ибо в скобках то же самое выступает как толкование, например: атомная подводная лодка—*суу астында жүрүүчү атомдук кеме*; можно привести и ряд других подобных примеров. Следовало бы более четко выделить перевод термина и его многословное толкование.

Поскольку словарь рассчитан прежде всего на киргизов, не владеющих или слабо владеющих русским языком, а киргизские соответствия русским терминам еще не устоялись, толкование терминов требует внимательного и квалифицированного подхода. Многие термины вообще приведены без толкования: красноармеец, красногвардеец, крейсер вспомогательный, краснофлотец и мн. др. В одних случаях толкование терминов слишком лаконично, в других—излишне пространно, напоминая скорее статью энциклопедии.

Неясно толкование таких понятий, как гидроавиация, перебежчик, португез и др. Толкование воинских званий не дает конкретного представления об их субординации и т. п.

Ряд толкований и переводов требует дополнительных объяснений: они просто непонятны киргизоязычному читателю, слабо владеющему русским.

В переводах часто обнаруживаются слова, лишенные информативности: 'авиационное крыло' *авиациялык топ же бөлүк*. Последние два слова здесь излишни.

Часто в переводах наряду с лишними словами используются и избыточные морфологические элементы, утяжеляющие термины: «бронедрезина»—*броняланган дрезина*, но «бронепоезд»—*бронялуу поезд*; в этих случаях достаточно принять русские формы: милитаризация переводится *милитаризациялоо*, где киргизский элемент *-лоо* излишний; «народное ополчение»—*элдик кошундар*: здесь аффикс множественного числа *-дар* лишний. Избыточным является присоединение суффикса множественного числа к русским заглавным словам: аппарат на воздушной подушке, баллистическая мишень, высшее военное авиационное училище и т. п. Подобные огрехи затрудняют дефиницию и толкование термина.

Несомненно, перевод и толкование многих русских и интернациональных терминов в ряде случаев вызывает определенные трудности, связанные с отсутствием устоявшихся традиций их употребления. Поэтому, как уже отмечалось выше, необходима была тщательная подготовительная работа при составлении словаря.

Этим объясняется разницей в употреблении словообразовательных элементов при переводе одного и того же слова в разных терминологических сочетаниях: подготовка операции—*операцияны даярдоо*, но подготовка стрельбы—*атуу даярдыгы* и т. д.; в использовании разных залоговых форм при переводе одного и того же глагола: «защита войск от оружия массового поражения»—*массалык кыйратуучу куралдан аскерлерди коргоо*; «защита от зажигательных веществ»—*өрттөгүч заттардан коргонуу* и т. д.

Использование изафетных конструкций и образований, представляющих собой имя прилагательное, в определенных словосочетаниях требует строгого регламентирования. Так, например, выражение «информация военная» переводится с помощью производного прилагательного: *согуштук информация*, а «инфразвуковое оружие»—посредством изафетного словосочетания: *инфраун куралы*, ср. также «десантный отряд»—*десант отряды*, но «десантный эшелон»—*десанттык эшелон* и т. д.

Недостатки обнаруживаются и в передаче аббревиатур. Термин «военно-морские силы» переводится полностью, а его аббревиатура ВМС представлена киргизским эк-

вивалентом ААК, не употребительным в языке и вряд ли понятным киргизу, Военно-Морской Флот—ВМФ также передается в киргизском языке неупотребительной аббревиатурой АДФ.

Недостатком словаря является объединение в одной статье разнородных понятий (Праздник Победы, День Победы; ядерная мина, ядерный фугас и т. п.), затрудняющих поиск нужного слова.

Перевод многих терминов несколькими синонимами («препятствие»—*тоскоол, каргача*; «предохранитель»—*бекиткичер, сактагычтыр*; «привал»—*тычыгуу, өргүү* и т. п.) свидетельствует о неустойчивости и отсутствии унификации киргизской военной терминологии, а также о недостаточной работе составителей словаря.

Следует отметить, что при передаче русских терминов не всегда в должной мере привлекаются средства самого киргизского языка, например: *старший лейтенант*—вместо русского «старший» можно было бы использовать киргизское *ага*.

Семантическое развитие киргизских слов позволяет передать многие русские термины средствами киргизского языка: слово *каражат*, первоначально обозначавшее средства существования, ныне употребляется и в значении «орудие»: средства аварийной защиты—*авариядан сактоо каражаты* и т. д. Вместе с тем некоторые значения еще не закрепились за рядом терминов или терминокомпонентов: термин «военный» передается синонимами *аскер* (см. заглавие словаря) и *согуш*; изначально *аскер* обозначало «воин», *согуш*—«война».

Ряд производных терминов русского язы-

ка представлен отдельными статьями, однако следовало бы дать отдельной статьей и производящую основу, например, присутствует «дезертирство»—*дезертирдик*, но нет в словаре статьи дезертир и т. д.

Многие термины-словосочетания с общим термином элементом разбросаны по всему словарю, например, см.: цензура военная, педагогика военная, прокуратура военная, геология военная, долг воинский и т. д. с перестановкой терминологических элементов.

Для усвоения смысла слов необходимо строгое соблюдение правил правописания термина, которое иногда нарушается. Например, ракета-носитель переводится *ракета алып жүргүч*, что по-русски «носитель ракеты». Недоразумение можно было бы устранить, поставив перед словом *алып* дефис. В некоторых случаях правописание отражает недостатки современного киргизского алфавита, в котором отсутствуют буквы, обозначающие специфические фонемы киргизского языка. Это приводит к тому, что русские слова произносятся соответственно нормам киргизского языка, что затрудняет усвоение киргизами русского произношения. См. док, каска, лаг и т. д. Встречается немало случаев ошибочного правописания русских терминов: «артиллерийская корабль», «безядерная зона», «ракета-ядерный удар», «стрелковая цель» (вм. цель) и др.

Словарь можно несколько сократить по объему за счет узкоспециальных терминов.

Данный словарь нуждается в серьезной квалифицированной доработке и устранении указанных недочетов.

К. Мусеев

НИЗАМИ ХУДИЕВ. АЗЭРБАЙҶАН ЭДЭБИ ДИЛИ ЛУҒАТ ТӘРКИБИНИН ИНҚИШАҒЫ

БАҚЫ, 1986, 84 с.

В книге Низами Худиева «Развитие словарного состава азербайджанского литературного языка» определяются и системно анализируются этапы истории развития азербайджанского литературного языка.

Решение национального вопроса на социалистической основе после победы Советской власти, качественные изменения в духовной общественной жизни в Азербайджане нашли отражение и в более глубоком сознательном отношении к слову. Два противоположных направления, существовавших в лингвистике к началу XX века (молланасреддинцы, фьюзацисты), уже в первые годы Советской власти породили широкие дискуссии среди языковедов. В это время уже наметились основные тенденции развития литературного языка (особенно

после 30-х гг.), и поэтому споры велись по конкретным проблемам, словарный состав языка подвергался тщательному анализу.

Н. Худиев приходит к заключению, что в советский период словарный состав азербайджанского литературного языка прошел два этапа развития: первый—1920—1940 гг., второй—1940—1980 гг. Этот вывод основан непосредственно на интерпретации лингвистического материала, подробной хронологической соотнесенности лексических единиц. Учитывается и роль общественно-политических событий, но для истолкования специфики развития словарного состава.

Хотелось бы отметить, что указание конкретных дат в классификации (например, 1920—1940 гг.) с методологической точки зрения представляется нам спорным. По на-

шему мнению, первый этап, выделенный автором, охватывает 20—30-е гг., а второй этап начинается в конце 30—начале 40-х гг. и продолжается по настоящее время. Мы полагаем, что 40—50-е гг. были переходным периодом в развитии словарного состава языка, ибо в 40-е годы еще преобладал лексический колорит 20—30-х гг., а в 50-е—30—40-х.

Н. Худиев дифференцирует развитие словарного состава и, с одной стороны, выявляет изменения на различных уровнях языка и определяет направления развития лексического состава, а с другой—анализирует словарный состав (общеупотребительные слова, профессиональная лексика, терминология и т. д.).

Учитывается не только статическое состояние каждого уровня, но и динамическая автономия. Автор приходит к выводу, что «развитие словарного состава „набирает скорость“ соответственно динамике социальных условий», а динамичность развития обуславливает появление различных лексико-семантических вариантов. Таким образом, в лексической норме наблюдается определенная нестабильность. К примеру, в 20—30-е гг. отношение к таким вопросам, как происхождение лексического состава, определение источников терминологической лексики, техника стилистического использования лексических единиц, неоднократно менялось.

Автор особо выделяет роль межнациональных связей, все более интенсивно влияющих на развитие словарного состава. Сопоставительный анализ показывает, что в языках братских народов возникает много общих лексических единиц. Взаимовлияние, взаимообогащение национальных культур, в конечном итоге, охватывало и национальные литературные языки (особенно словарный состав).

Характеризуя специфические особенности развития азербайджанского литературного языка, автор рассматривает заимствования из арабского и персидского языков (например: *тэсэрруфат* 'хозяйство', *гэрар* 'постановление', *фуггара-и-касибэ* 'беднота'), из османско-турецкого языка (например: *көй* 'деревня', *кэнди* 'сам' и т. д.), из русского и европейских языков (например: *кооперация*, *демонстрация*, *революция* и т. д.). Он также подчеркивает функционирование лексических единиц, образованных за счет внутренних ресурсов языка. К ним можно отнести следующие: *голчомаг* 'кулак', *өзэк* (*фиреь өзэји*) 'ячейка', *эмэчи* 'труженик', *арашдырма* 'исследование', *илдөнүмү* 'годовщина', *сечки* 'выборы' и т. д., отражающие особенности жизни и реалий 20-х годов.

В 30-е годы в словарном составе азербайджанского литературного языка, в отличие от предыдущего десятилетия, наблюдаются только количественные, но не качественные изменения. Приведенные исследо-

вателем примеры показывают, что в этот период расширяются лексико-семантические связи между словами тюркского, арабо-персидского и русско-европейского происхождения (напр.: *торпаг шө'бэси* 'земотдел', *жерли комитэ* 'местком', *тадарук планы* 'план заготовки'), таким образом вводятся целый ряд новых понятий.

В заимствованиях 30-х годов наблюдается определенная эклектика, с невиданной быстротой растет число синонимов (*партия—фиреа, университет—дарулфунун, дэрнэк—кружок, көй—кэнд*). Этот стиль синонимизации с точки зрения культуры речи не имел успеха, ибо не был продиктован насущной необходимостью.

Как утверждает автор, процесс формирования норм литературного языка в 20—30-е годы был весьма сложным. Были допущены следующие ошибки:

а) абсолютный отказ от арабо-персидских слов,

б) массовое заимствование из русского и европейских языков,

в) попытки пуризма.

Однако к концу 30-х годов, когда усилия исследователей были направлены на определение тенденции развития словарного фонда, отрицательные явления уже изжили себя.

С 40-х годов в развитии словарного фонда азербайджанского языка начинается качественно новый этап, продолжающийся до настоящего времени:

а) 40-е, 50-е годы: определенная часть русских заимствований (такие, как простой, установка) заменяются или арабо-персидскими, или собственно азербайджанскими (тюркскими по происхождению) словами, стремительно растет терминологический потенциал: в 40-е годы—военный, а в 50-е годы увеличивается число терминов культурно-хозяйственного содержания; расширяется сфера выражения новых понятий словосочетаниями;

б) 60-е, 70-е годы: с ростом научно-технического прогресса словарный состав языка последовательно обогащается экономико-технической и общественно-политической терминологией, а самое главное—в лексике литературного языка появляется нормативность, доходит до минимального предела лексический параллелизм.

Н. Худиев останавливается на проблеме неологизмов, механизме образования новых слов, их дальнейшем употреблении. В данном разделе речь идет только о тюркских (азербайджанских) словах, показаны стилистические возможности основного словарного фонда, его способность отражать изменения в социально-экономической, культурной жизни народа. В советский период на определенных этапах развития становление неологизмов происходило тремя путями: а) производным путем: *кечици* (*бајраг*) 'переходящее (знамя)', *сечичи* 'избиратель', *гырычы* 'истребитель' и т. д., б) сложением

основ — сложным путем: *памбыгъыған* (машын) 'хлопкоуборочная (машина)', *пешэјөнуму* 'специализированный', *гаршыдурма* 'противостояние', *сутутар* 'водоем' и т. д., в) путем словосочетаний: *нава кэмиси* 'воздушный корабль', *планетларарасы кэми* 'межпланетный корабль' и т. д.

Автор рассматривает словарные единицы как изолированно, так и на фоне лексико-семантической системы, в которую они входят, что позволяет выявить роль слова в процессе коммуникации.

Таким образом, в диахронном плане развиваются не только слова, но и семантические связи между ними, в результате чего меняется, обогащается значение слов.

Книга Н. Худиева «Развитие словарного состава азербайджанского литературного языка» является заметным шагом на пути изучения истории развития азербайджанского литературного языка.

К. М. Абдуллаев, Н. Г. Джафаров

С О Д Е Р Ж А Н И Е

СТРУКТУРА И ИСТОРИЯ ЯЗЫКА

- Э. А. Грунина (Москва). К теории тюркского залога 3
М. Б. Бергельсон, А. А. Кибрик (Москва). Система переключения референции
в тувинском языке 16

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

- А. К. Салмин (Ленинград). Два чувашских термина, обозначающих сказку . . . 33

ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ

- Д. Г. Тумашева (Казань). Этнические связи западно-сибирских татар . . . 38

ОНОМАСТИКА

- И. В. Дрон (Кишинев). Гидронимы гагаузов Молдавской ССР 52

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

- В. Г. Кондратьев (Ленинград). О развитии в языке 62
Я. Ф. Кузьмин-Юманиди (Казань). О гебраизмах в чувашском языке . . . 68
Э. К. Эрнитс (Тарту). К происхождению тюркского числительного 'один' . . . 77

СООБЩЕНИЯ

- Е. К. Молчанова (Москва). Дейктические и анафорические местоименные суф-
фиксы в языках Среднеазиатского языкового союза 80
Ш. Сарыбаев, А. Сулейменова (Алма-Ата). Об изучении казахского языка
за рубежом 86
Ш. Х. Халилов (Баку). Историческое развитие и нормализация категории па-
дежа в средневековом азербайджанском литературном языке 92

РЕЦЕНЗИИ

- Т. М. Гарипов (Уфа), И. Г. Добродомов (Москва). Исследования зарубежных
ученых по тюркской филологии 101
К. Мусаев (Москва). К. Үсенбеков, Б. Абылгазиев, Ы. Қадыров. Аскер иши
боюнча терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү: Русско-киргизский термино-
логический словарь по военному делу 106
К. М. Абдуллаев, Н. Г. Джафаров (Баку). Низами Худијев. Азәрбајҹан әдәби
дили дүгәт тәркибинин инкишафы 108

C O N T E N T S

STRUCTURE AND HISTORY OF LANGUAGE

- E. A. Grunina* (Moscow). Towards a theory of Turkic voice 3
M. B. Bergelson, A. A. Kibrik (Moscow). Refraction switching system in Touvinian 16

FOLKLORISTICS

- A. K. Salmin* (Leningrad). Two Chuvash terms denoting tale 33

ETHNOLANGUAGES IN CONTACT

- D. G. Tumasheva* (Kazan). Ethnic connections of Western Siberian Tatars (on toponymy and anthroponymy materials) 38

ONOMASTICS

- I. V. Dron* (Kishinev). Hydronyms of Gagauzes of the Moldavian SSR 52

DISCUSSIONS

- V. G. Kondratiyev* (Leningrad). Development in the language (on Turkish material) 62
Y. F. Kuzmin-Yumanadi (Kazan). On Hebraisms in Chuvash 68
L. K. Ernits (Tartu). On origin of Turkic numeral «one» 77

REPORTS

- Y. K. Molchanova* (Moscow). Deiktik and anaphoric pronominal suffixes in the languages of Central Asiatic linguistic union 80
Sh. Sarybayev, A. Suleymenova (Alma-Ata). Towards studying Kazakh abroad 86
Sh. Kh. Khalilov (Baku). Historical development and normalization of case category in medieval Azerbaijan literary language 92

REVIEWS

- T. M. Garipov* (Ufa), *I. G. Dobrodomov* (Moscow). Исследования зарубежных ученых по тюркской филологии 101
K. Musayev (Moscow). К. Үсенбеков, Б. Абылгазиев, Ы. Кадыров. Аскер иши боюнча терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү: Русско-киргизский терминологический словарь по военному делу 106
K. M. Abdullayev, N. G. Djafarov (Baku). Низами Худидев. Азәрбајҹан әдәби дили лүғәт тәркибинин инкишафы 108

© «Советская тюркология», 1987 г.

Технический редактор *Б. А. Абдуллаев*

Корректоры *А. Е. Сорокина, Г. В. Жилин*

Сдано в набор 21.07.87 г. Подписано к печати 30.09.87 г. ФГ 28709. Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Бум. л. 3,5. Физ. печ. л. 11,2. Уч. изд. л. 10,4.

Заказ 7332. Тираж 2360. Цена 1 руб. 10 коп.

Типография издательства «Коммунист», ул. Авакяна, 529 квартал.